



Алла Максимовна Марченко Лермонтов

*Текст предоставлен издательством «АСТ»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=260502
Лермонтов: АСТ, Астрель; Москва; 2009
ISBN 978-5-17-062584-0, 978-5-271-25664-6*

Аннотация

Алла Марченко – автор биографий А.Ахматовой, С.Есенина.

«Если бы этот мальчик остался жив, не нужны были ни я, ни Достоевский». Народная молва приписывает эти слова Льву Толстому. Устная легенда выразительнее, чем иные документы. С этой мыслью и движется повествование в книге «Лермонтов», которое А.Марченко строит свободно, разрушая стереотипы и устаревшие суждения, но строго придерживаясь маршрута судьбы и масштаба личности поэта.

Содержание

От автора	4
Глава первая	5
Глава вторая	14
Глава третья	24
Глава четвертая	36
Глава пятая	50
Глава шестая	59
Глава седьмая	67
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Алла Марченко

Лермонтов

*Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих,
мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной
надобности!..*

Герой нашего времени

От автора

«Лермонтов и Пушкин, – писал Блок в 1906 году, – образы “предустановленные”, загадка русской жизни и литературы».

Для людей Серебряного века это – аксиома; для нас, нынешних, всего лишь красивая, но пустая фраза. От разгадывания русских загадок Лермонтов отставлен. Споры-диспуты-сшибки – быть или не быть России Россией – обходятся без него. А раз отставлен, то, соответственно, и переведен в иное Созвездие. С понижением в чине. Открыто о печальной перемене на звездной карте родимого литературного неба (печальной, разумеется, не для Лермонтова) никто не заявлял. Однако новый статус его – из иконостаса образов предустановленных изъятый – нет-нет, а дает о себе знать. То станцию метрополитена, всенародной обиды не страшись, переименуют, то монографию к сроку не выпустят, то автор с пером и идеей для юбилейной «обязаловки» не сыщется. «Как звезды подучий пламень, не нужен в мире я...» Что завтра будет, бог весть, но сегодня, здесь и сейчас, и впрямь не нужен – лишний. Время-то на дворе экономическое, стайное, стадное, групповое, корпоративное, не принадлежащее к толпе, то, что она, толпа, не в состоянии: присвоить, приспособить, адаптировать, растиражировать – так, чтобы каждый из принадлежащих к толпе получил свою, законную часть добычи, ей попросту не интересно.

К счастью, все эти перемены происходят в верхних слоях литературной атмосферы, а ниже, ближе к земле, как и прежде, при Блоке: «чем реже на устах, тем чаще к душе». Тайный орден «лермонтистов», рассеявшийся после смерти его последнего Великого Магистра – Ираклия Луарсабовича Андроникова, существует. Членам сего почти масонского Ордена я и посвящаю свою книгу.

Глава первая

25 октября 1827 года пензенской помещице Елизавете Алексеевне Арсеньевой, приехавшей в Москву, чтобы устроить внука своего, Михайлу, на учение, из Московской духовной консистории было выдано свидетельство о рождении его и крещении. Бумага составлена на основании выписки из метрической книги церкви Трех Святителей что у Красных Ворот, сделанной тринадцать лет назад:

«Октября 2-го¹ в доме господина покойного генерал-майора и кавалера Федора Николаевича Толя у живущего капитана Юрия Петровича Лермонтова родился сын Михаил... крещен того же октября 11 дня, восприемником был господин коллежский асессор Фома Васильев Хотяинцев, восприемницею была вдовствующая госпожа гвардии поручица Елизавета Алексеевна Арсеньева».

Факт вроде бы ничем не примечательный, но попробуем вдуматься в него, вписав в бытовой контекст эпохи.

Сожженная пожаром древняя столица стала постепенно «наполняться» лишь к лету 1813 года. Одними из первых вернулись из Нижнего Новгорода Карамзины. Картина, представшая историку государства Российского, была печальной, куда более печальной, чем виделось из нижегородского далека: «С грустью и тоской въехали мы в развалины Москвы; живем в подмосковной нашего князя Вяземского... Здесь трудно найти дом: осталась только пятая часть Москвы. Вид ужасен. Строятся очень мало. Для нас этой столице уже не бывать».

Жилье в конце концов нашлось, но жить в нем, а тем более работать было затруднительно: несколько комнат без всяких удобств, и притом втроедорога. Чувство дискомфорта, мешавшее Николаю Михайловичу обживать в Москве, создавали не одни лишь бытовые неудобства и дороговизна («цены на все лезут в гору», пуд рафинада – 100 рублей ассигнациями). Иным стал нравственный климат, словно в великом пожаре сгорели не только дома, драгоценные рукописи и уникальные библиотеки, но и нечто более важное – дух высокого бескорыстия: «Здесь все очень переменилось, и не к лучшему. Говорят, что нет и половины прежних жителей. Дворян же едва ли есть и четвертая доля, из тех, которые обыкновенно приезжали сюда на зиму. Один Английский клуб в цветущем состоянии».

Граф Федор Ростопчин, инициатор «сожжения», негодовал: и его подвиг, и подвиг тех, кто добровольно, «действуя заодно с народом», «предавал пламени все свое достояние», перестали вызывать восторг и восхищение. «Патриотизм по-ростопчински» вдруг, в одночасье, вышел из моды. В послепожарной Москве тон стали задавать «реалисты» – те, для которых, по едкому определению неистового губернатора, «денежная сторона великой катастрофы» затмила и ее славу, и славу «ультрамосквича».

По возвращении императора из Европы «великий поджигатель» добился высочайшей аудиенции.

Однако Александр принял Ростопчина более чем холодно. В глазах самодержавного триумфатора московский генерал-губернатор теперь, когда вместе с опасностью поостыл и свержпламенный патриотизм, был персоной нон грата, человеком, «навязанным ему общественным мнением». Общим же мнением и «отторгнутым» – по неизбежному обратному толчку.

Казалось бы, кому, как не Ростопчину, должна была быть известна глубинная, подводная причина этого «толчка». Ведь он сам, хотя, видимо, и с «походом», определил величину денежного урона: 321 миллион. Между тем Александр Благословенный смог выделить для вспомоществования разоренным бедствием всего лишь два миллиона: французские войны

¹ Видимо, Лермонтов родился в ночь со 2 на 3 октября; эта дата – 3 октября – указана на его памятнике в Тарханах.

опустошили казну. Сумма, в сравнении с масштабом бедствия, была столь мизерной, что смахивала на подаяние.

Чтобы представить и остроту ситуации, и степень горячности, с какой в Москве 1814 года обсуждались правительственные меры в связи с разором, уместно напомнить такую деталь. Когда в 1833 году на юге России начался из-за неурожая голод, Николай немедленно выдал губернаторам южных провинций – Репнину, наместнику Малороссийскому, и Воронцову, Новороссийскому и Бессарабскому, – миллион.

Но знала ли вдова гвардии поручица Арсеньева обо всех этих обстоятельствах? Или пустилась в дальний путь из обустроенного имения пензенского в погорелую Москву с беременной дочерью и несамостоятельным зятем на авось, по провинциальному недомыслию? Прикинула ли, во что обойдется московское зимование даже при благополучном разрешении Марии Михайловны от бремени? Знала. И не по слухам. Уж на что основательным и осмотнительным был ее новый родственник, адмирал и сенатор Н.С.Мордвинов,² только что выдавший дочь свою Веру за брата Арсеньевой Аркадия, а и тот переживал смутное время в пензенском имении зятя. Лишь к весне 1814-го сдвинулись Мордвиновы-Столыпины с места. Да и то не в Москву направились, в подмосковную деревеньку. Адмирал и сенатор не располагал средствами, достаточными, чтобы обустроиться на пепелище: московский дом Мордвинова сгорел дотла вместе с обстановкой и коллекцией картин, приобретенных екатерининским любимцем во время итальянских экспедиций.

Впрочем, московскому легкомыслию и страсти к развлечениям и разор, и утраты не помеха. М.О.Гершензон в историческом очерке «Грибоедовская Москва» приводит письмо Марии Ивановны Римской-Корсаковой от 15 мая 1814 года (по словам П.А.Вяземского, «тип московской барыни в хорошем и лучшем значении этого слова»): «Всевышний сжалился над своим творением и наконец этого злодея сверзил. У нас хотя Москва и обгорела до костей, но мы из радости не унываем, а торжествуем из последних копеек. В собрании был маскарад, члены давали деньги; купцы давали маскарад. Поздняков дал маскарад-театр. А 18 будет славный праздник... Будут играть мелодраму; Россию играет Верочка Вяземская, что была Гагарина... Мелодрама сочинена Пушкиным Алексеем Михайл[овичем]. Потом сделан храм, где поставлен бюст его величества государя императора нашего и около стоят народы всех стран...»

Рассказы о славном празднике победы над злодеем привез в Тарханы вышедший в отставку младший брат Арсеньевой Афанасий Столыпин. На весть о весельствах в обгоревшей до костей Москве Елизавета Алексеевна презрительно усмехнулась: эти дуры, обвесившись бриллиантами, и в Нижнем Новгороде прыгали во французских кадрилях. Не весельство сие, а глупство.

Короче: для того чтобы на осень глядя одинокой вдове вздумалось везти беременную дочь в Москву, минуя Пензу, битком набитую влиятельными родственниками (родная сестра Александра – жена вице-губернатора Евреинова), надо было иметь либо безответственный характер, либо шальные деньги, либо находиться в последней крайности.

Безответственностью Елизавета Алексеевна не страдала. Никогда не было у нее и легких денег, и если средства все-таки не переводились, то потому только, что всегда тратила их к месту и осмотнительно. А вот крайность, в какую ее поставили раннее замужество дочери, болезненной от рождения, и трудная ее беременность, и впрямь была из самых крайних. Госпожа Арсеньева не могла ждать, когда Москва делается обитаемой.

² Об Н.С.Мордвинове еще не раз пойдет речь в нашем повествовании, а пока приведу одну выдержку из воспоминаний А.Т.Болотова, лермонтоведами не замеченную: «Известно, что всем нашим Черноморским флотом командовал вице-адмирал Николай Семенович Мордвинов. О сем Мордвинове говорили, что он отменный и великий человек. Поскольку отец его был адмиралом, то он почти родился и вырос на кораблях: отменно знает свое ремесло; сидит на книгах и в науках упражняется, и великий флагман». (Записки Андрея Тимофеевича Болотова. Тула, 1988.)

Елизавета Алексеевна была старшей дочерью Алексея Емельяновича Столыпина, сделавшего состояние на винных откупах. А.Фадеев, женившийся на одной из дочерей пензенских знакомых Арсеньевой – князей Долгоруких, рассказывает в воспоминаниях, что в семье жены, несмотря на стесненные обстоятельства, почти бедность, холодно отнеслись к его проекту заняться винными откупами. До того неприязненно высказывались, что Фадеев был вынужден отказаться от соблазнительной затеи. Алексей Емельянович Столыпин был не столь щепетилен. Принадлежавшие ему виноделательные заведения, включая пензенский винный завод, не смущали его совести: они приносили доход, а деньги не пахли. К концу девяностых Алексей Емельянович разбогател настолько, что сумел не только обеспечить сыновей, но и без особых хлопот выдать замуж всех своих дочерей. Первой, как и положено, просватали старшую – Елизавету. За елецкого дворянина Михаила Васильевича Арсеньева.

Арсеньевская ветвь родословного древа поэта практически не изучена. Даже местоположение вотчины прадеда Лермонтова, Василия Васильевича Арсеньева, было неизвестно, пока П.А.Вырыпаев, в ту пору (1968) директор музея в Тарханах, не решился самолично отыскать останки сельца Васильевки. Той самой Васильевки, где, по преданию, познакомились родители Лермонтова и где, по предположению авторитетного лермонтоведа В.А.Мануйлова, была сыграна их свадьба. Проявив чудеса изобретательности, изъездив пол Тульского края, нашел-таки П.А.Вырыпаев затерявшееся село. Хотя мог бы ехать наверняка, если бы догадался заглянуть в «Записки» Андрея Тимофеевича Болотова.³

Сослуживец, земляк, свойственник господ Арсеньевых (жена Болотова – любимая племянница Матрены Васильевны, родной сестры прадеда поэта), Андрей Тимофеевич был связан с алексинскими соседями множеством уз. Это, что называется, один круг, и самое беглое знакомство с его записками стирает несколько белых пятен в «нищенской»⁴ биографии Лермонтова. Подробнейшим образом, к примеру, описал дотошный Болотов путь по «бездорожице» от Алексина до наследственных арсеньевских владений и за двести почти лет до предпринятого Вырыпаевым путешествия уточнил: не Васильевкой именовалось «затерявшееся» село, а Луковицами. Васильевкой же в родственном обиходе называли ту его часть, что по завещанию получил младший сын последнего единоличного владельца Луковиц, Василий Васильевич; вторая половина досталась старшему его брату, Дмитрию, и называлась, соответственно, Дмитриевкой.

Но давайте послушаем богородицкого летописца, завернувшего по первопутку в зиму 1792 года⁵ к родным братцам крестной матери своих детей Матрены Арцыбашевой, в девичестве Арсеньевой. Бесхитростный этот рассказ не только открывает неизвестные лермонтоведам факты, но и воскрешает живую, яркую, колоритную жизнь, процветавшую некогда там, где директор тарханского музея застал лишь пустое, голое место.

«Доехав до села Варфоломеева, стали мы в пень и не знали, как проехать в село Луковицы к господам Арсеньевым, родным братьям тетки Матрены Васильевны... Принуждены были искать мужика в проводники и дать гривну... Я приехал прямо в двор к старшему брату генералу Дмитрию Василевичу. Но, хватъ, его нет дома. Ах, какая беда! (Но где же он? У брата-де своего Василия Василевича.) Ну, слава богу!.. тут обо двор... Хозяева мне рады, Дмитрий Василевич также, унимают ночевать. Я рад. Гляжу, смотрю, Фома Василевич Хотяинцев на двор. Человек знакомый, любезный, умный и такой, с которым есть о чем

³ Жизнь и приключения Андрея Тимофеевича Болотова, рассказанные им самим. М.: Академия, 1931; «Русская старина», 1873. Кн. 7–8 (приложение).

⁴ «Почвы для исследования Лермонтова нет – биография нищенская. Остается провидеть Лермонтова». А.Блок. Педант о поэте.

⁵ Напомню для полноты картины: через два года, в 1794-м, один из сыновей хозяина Васильевки, Михаил, женится на Елизавете Алексеевне Столыпиной.

поговорить. Ну-ка мы в разговоры и разговоры разные о всякой всячине, и все любопытные и хорошие».

Итак, братья Арсеньевы жили «обо двор» и жили дружно, как бы одним большим домом: и праздники общие, и гости, «громада людей», по выражению Андрея Тимофеевича, и все «в торжественном одеянии и убранстве». (Как выяснилось по приезду, Василий Васильевич «на утро был именинник».)

За право «уложить ночевать» редкого гостя братья слегка посоперничали, но старший младшего переспорил. Так обрадовался бывшему однополчанину, что даже от запланированного развлечения – поездки на свадьбу к соседу – отписался с нарочным, сочинив с помощью Болотова «небывальщину». А поутру и Фома Хотяинцев заявился, и Дмитрий Васильевич показывал гостям разные достопамятные бумаги и «секретные инструкции», «с какими послан бывал от императрицы в разные места для исследования истины». Так разбеседовались, что еле к позднему именинному обеду успели. Но и тут Андрей Тимофеевич от своих правил не отступил: именинные гости – за карты, а он все с тем же Фомою Хотяинцевым – за разговоры.

Всего этого Лермонтов в Луковицах уже не застал, но «сказок» о «недавней старине» и в детстве, и в отрочестве наслушался вдоволь, благо имел врожденную склонность «просиживать в мечтах о том, что было, мучительные ночи» («Сашка»).

Убеждена: если бы не история предков, глядевшая на Лермонтова-подростка из всех углов и закоулков прадедовского арсеньевского особняка, единственного в его жизни наследного родового жилища (все остальные – и в Тарханах, и в Кропотове – куплены уже готовыми), вряд ли б с таким личным акцентом, с такой лирической силой прозвучала бы эта тема, тема *старинного дома*, в самой таинственной из поэм Лермонтова – «Сказке для детей»:

Тот век прошел, и люди те прошли;
Сменили их другие; род старинный
Перевелся; в готической пыли
Портреты гордых бар, краса гостиной,
Забытые, тускнели; поросли
Дворы травой; и блеск сменив бывалый,
Сырая мгла и сумрак длинной залой
Спокойно завладели... тихий дом
Казался пуст...

Но, может быть, я слегка приукрашиваю историческое прошлое старших членов арсеньевского рода? Ничуть. Дмитрию Васильевичу, равно как и Василию Васильевичу, было о чем поведать любознательному Болотову. Их военная молодость прошла при дворе двух императриц. Вот что пишет все тот же Болотов все в тех же не замеченных лермонтовцами мемуарах: «В нашем полку был тогда адъютантом алексинский дворянин Дмитрий Васильевич Арсеньев, самый тот, который после дослужился до генеральского чина. Высокий его рост и красивый стан полюбился при дворе; его взяли от нас в лейб-компанию».

Несколькими годами позже в привилегированную «компанию», капитаном которой была сама «Елизавет-Петровна», и, видимо, не без братних хлопот, «взяли» и Василия Васильевича. А еще через какое-то время и, похоже, за те же самые качества – высокий рост и красивый стан – в лейб-компании очутился и другой прадед поэта, Алексей Емельянович Столыпин.

Придя к власти, Петр III лейб-компанию разогнал – кого в отставку, кого «по другим местам». Однако умная Екатерина по восшествии на престол решила не ссориться с «грена-

дерами», и братья Арсеньевы вернулись «к двору» – в гвардейский Преображенский (Петровский!) полк.

Алексей Емельянович Столыпин примеру однополчан не последовал. Осел в Пензе, женился, но о друзьях молодости не забывал, и как только старшая из дочерей, Лиза, заневестилась, просватал за одного из сыновей знакомого лейб-компанца.

Мемуары Болотова расшифровывают, наполняют живым смыслом и немую запись в метрической книге церкви Трех Святителей, что у Красных Ворот, от 11 октября 1814 года: «Октября 2-го... у... капитана Юрия Петровича Лермонтова родился сын Михаил... восприемником был господин коллежский асессор Фома Васильев Хотяинцев...»

Характеристика, данная Андреем Тимофеевичем коллежскому асессору Фоме Хотяинцеву, – человек знакомый, любезный, умный, такой, с каким даже ему, многознаю, есть о чем поговорить, – выбор Арсеньевой, суровой снохи васьлевского бонвивана, объясняет вполне. Все, что касалось внука, Елизавета Алексеевна обдумывала нельзя тщательней. И даже ход ее соображений предположительно расшифровывает: родной отец Мишеньки – «пустомеля» и «никчемушник», так пусть хоть достоинства отца крестного, в их родственном кругу всеми признанные и отмеченные, сию промашку судьбы выправят.

На наше счастье, коротко знал Болотов и деда поэта, Михаила Васильевича Арсеньева, о характере которого мало что известно достоверно, кроме утверждения его вдовы: внук-де унаследовал именно от деда и нрав, и свойства. Так вот, оказывается, Михаила Арсеньев учился в одном пансионе с сыном Болотова и сделался «через то его приятелем».

Приведу фрагмент из письма А.Т.Болотова к сыну. Похоже, что упоминаемый здесь Михаил Васильевич – не кто иной, как дед Лермонтова. Во всяком случае, вряд ли стал бы Болотов-старший, при всей его дотошности, столь подробно излагать приключение в тульском трактире «Очаков», если бы речь шла не об однокашнике и приятеле Болотова-младшего.

«...А ввечеру, изволите ли знать, где мы были? В Очакове... сей трактир не совсем напрасно носит сие имя! Все убранство и украшения в оном сделаны в турецком вкусе... и все служители наряжены в турецких платьях и чалмах... Причина же езды была та, что Михаилу Васильевичу, собравшись со своими знакомцами, надлежало попотчевать приятелей...»

Пирушка в трактире «Очаков» Болотову, как и следовало ожидать, не понравилась: «весьма не курьезен был оставаться долго в такой компании», схлопотал головную боль и уехал домой. А вот Михаил Арсеньев и достигнув возраста страсти к театрализованным увеселениям не утратил...

Замужество Елизаветы Алексеевны оказалось не из самых счастливых. Нельзя сказать, чтобы Михаила Арсеньев «женился на деньгах». Столь явный расчет был чужд его широкой и великодушной натуре. Да и деньги были не такими уж большими. Чтобы купить Тарханы, и притом по случаю, по дешевке, к приданому пришлось присовокупить все свадебные подарки. Столыпины, люди практичные, предпочитали одаривать новобрачных серебром и ассигнациями. Михаилу Васильевичу шел двадцать седьмой год. По понятиям XVIII века самое время, оставив разорительную, не по карману, гвардейскую службу, остепениться, обзавестись семьей да зажить степным помещиком. В соответствии с этим направлением мыслей он и сделал свой выбор. Невеста была умна, рассудительна, степенна, правда, немного сурова и «до некоторой степени неуклюжа», а главное, громоздка. И Алексеевичи, и Алексеевны статью пошли в отца.

Высокий рост и суровость делали Елизавету старше своих двадцати двух; двадцатисемилетний супруг, мужчина статный и видный, из-за необычайной молодости выглядел едва ли не младше ее. Зато за такой женой не пропадешь: ровное, надежное, спокойное постоянство. Да и столыпинская поддержка многого стоила. Не имей родственники жены

устойчивого авторитета в Пензенской губернии, не стать бы елецкому дворянину уездным предводителем чембарским. Казалось бы, не велик почет, одни хлопоты, но именно хлопот, и не узкосемейственных, требовал темперамент господина Арсеньева.

В журнале «Вестник Европы» за 1809 год опубликован любопытный документ – письмо, присланное в редакцию губернским секретарем и уездным заседателем чембарского суда Евгением Вышеславцевым, – наивный, безыскусный рассказ о том, как Арсеньев уговорил некоего господина М., выигравшего на законном основании многолетнюю земельную тяжбу с соседом, отказаться от присужденной ему суммы. Такими живыми красками изобразил бедственное положение ответчика, с таким жаром человеколюбия, что достиг цели, чем, видимо, сильно поразил воображение чембарских обывателей.

Судя по всему, случай с господином М., не устоявшим перед красноречием Михаила Васильевича, был типичным для деятельности последнего; иначе трудно представить себе появление «Письма из Чембара» – этого, по определению его автора, «анекдота, утешительного для друзей человечества», – на страницах столь солидного издания, каким был в те годы «Вестник Европы».

Вряд ли такого рода «анекдоты» были по нраву Елизавете Алексеевне: ее человеколюбие никогда не переступало границ семейного круга. Не слишком радовало практичную супругу Михаила Васильевича и его увлечение разного рода удовольствиями, равно как и страсть к изящным мелочам. Ей и сальные свечи хороши, тем более нонешние, на спиртовой, воощенной светильне – ясно горят, долго, и светильня тоненькая, редко снимать надобно; а ему восковые подавай, прозрачного виду. А то и французских из Москвы привезет. Мыслимое ли дело – 64 рубля ассигнациями за пуд?

Среди удовольствий, на какие горазд был Михаил Арсеньев, случались и самые что ни на есть банальные. Так, к примеру, однажды из московской поездки привез он в Тарханы карлика «менее одного аршина ростом». Куда делся уродец, когда затейнику надоела диковинка, неизвестно, но в течение двух или трех месяцев любопытствующие – и окрестные помещики, и крестьяне – могли наблюдать это представление сколько заблагорассудится: живая кукла имела обыкновение спать на подоконнике фасадного окна.

Однако были среди затей Михаила Васильевича и более оригинальные: елки, маскарады, домашние спектакли. Домашний театр не редкость в быту русского дворянства конца XVIII – начала XIX века. Даже тесть Арсеньева содержал некоторое время огромную труппу, известную всей Москве.⁶ Но театр Алексея Емельяновича – обычный крепостной театр, дань моде и тогдашним представлениям о престиже.

В театральных же предприятиях его зятя и ведущим актером, и режиссером, и декоратором был он сам. И удивляли они не пышностью постановки, а изобретательностью, артистизмом и, главное, увлеченностью, какую вносил Арсеньев в провинциальные развлечения.

Неумение и нежелание Михаила Васильевича ограничить себя домашним кругом хотя и не слишком способствовали семейственности, но и не нарушали налаженного стараниями хозяйки течения бытовой жизни. Хуже было другое: и Елизавета Алексеевна, и Михаил Васильевич, заключая брачный союз, видели себя в окружении целого выводка детей. Однако после рождения Марии Михайловны Елизавета Алексеевна заболела тяжелой и, видимо, неизлечимой женской хворью. Идеального многодетного семейства не получилось; мечта Михаила Васильевича о сыновьях, на которых могла бы излиться энергия его нестареющей души, так и осталась мечтой. Единственная же дочь была тиха и болезненна. Ни в мать, ни в отца, полагал Арсеньев. Елизавета Алексеевна судила иначе; она-то видела:

⁶ «В Москве около сего времени было 15 театров, из них был только один Большой, всенародный, а прочие все приютные, в домах. Славнее всех был из них графа Шереметева; после него князя Волконского; там – Столыпина и прочие. Некоторые из прочих были театры маленькие, и на них играли очень хорошо». (Записки Андрея Тимофеевича Болотова.)

под тихостью тлеет опасный арсеньевский огонь, но предпочитала не делиться своими соображениями с мужем.

К тому же Михаил Васильевич начал дурить. Вот уж действительно – седина в голову, бес в ребро. Хотя какой из него старик? Это она в свои тридцать шесть выглядит почти пожилой женщиной, того и гляди перейдет в разряд почтенных старух, а ему хотя и за сорок перевалило – все молодец. И держится молодым, и чувствует по-молодому. Нет чтобы приволкнуться развлечения ради – влюбился! И страстно.

Елизавета Алексеевна придирчиво присматривалась к сопернице и не могла отыскать в ней изъяна: красива, изящна, жива, белолица – и это при резко-черных волосах! Разве что ростом не вышла – субтильна, но крупные женщины не в фаворе у Михаила Васильевича, в этом его супруга могла убедиться на собственном горьком опыте.

Проживала разлучница по соседству, именовалась госпожой Мансыревой и была замужем, но муж, человек военный, пребывал в вечном отсутствии, так что, пользуясь свободой сельских нравов, хозяйка села Онучи принимала чембарского предводителя безотказно. О том, что скрывалось за безотказностью, госпожа Арсеньева старалась не думать. Чувства черноглазой вертихвостки ее не интересовали; к тому же, судя по горести, какой предавался влюбленный супруг, там ничего и не было, кроме обычного кокетства, подогреваемого провинциальной скукой.

Ну что ж, и это надо перетерпеть: перемелется – мука будет.

Не перемололось.

1 января 1810 года, как и было заведено с тех пор, как Машенька встала на ножки, Михаил Васильевич затеял елку, а к елке – маскарад и спектакль, на этот раз из Шекспирова «Гамлета». И себе костюм смастерил – могильщиком вырядился, и гостей, как водится, приглашал, и нарочного в проклятые Онучи отправил. Верного человека снарядил – камердинера своего, Максима. Да только с дурной вестью Максим воротился: мужде явиться изволил, и в дому огни потушены. Сообщено по секрету было, на ухо, но в тарханском доме какие секреты?

Удостоверясь, что праздник не будет испорчен присутствием очаровательницы, Елизавета Алексеевна повеселела. Но обернулось трагедией – не аглицкой, выдуманной, а самой что ни на есть натуральной.

Вот какой запомнилась, в записи, сделанной П.Шугаевым, ночь с 1 на 2 января 1810 года гостям господина и госпожи Арсеньевых:

«Елка и маскарад были в этот момент в полном разгаре, и Михаил Васильевич был уже в костюме и маске; он сел в кресло и посадил с собою рядом по одну сторону жену свою Елизавету Алексеевну, а по другую несовершеннолетнюю дочь Машеньку и начал им говорить как бы притчами: “Ну, любезная моя Лизанька, ты у меня будешь вдовушкой, а ты, Машенька, будешь сироткой”. Они хотя и выслушали эти слова среди маскарадного шума, однако серьезного значения им не придали или почти не обратили на них внимания, приняв их, скорее, за шутку, нежели за что-нибудь серьезное. Но предсказание вскоре не замедлило исполниться. После произнесения этих слов Михаил Васильевич вышел из залы в соседнюю комнату, достал из шкафа пузырек с каким-то зелием и выпил его залпом, после чего тотчас же упал на пол без чувств и из рта у него появилась обильная пена; произошел между всеми страшный переполох, и гости поспешили сию же минуту разъехаться по домам. С Елизаветой Алексеевной сделалось дурно; пришедши в себя, она тотчас же отправилась с дочерью в зимней карете в Пензу... Пробыла она в Пензе шесть недель, не делая никаких поминовений».

Смерть хозяина не изменила бытового уклада Тархан. Подобно пушкинскому «почтенному бригадиру» Дмитрию Ларину, Михаил Арсеньев никогда не входил в экономические заботы супруги. Имение принадлежало ей (496 душ мужского пола с землями, лесными и

всякими угодьями), следовательно, ей, владелице, и надлежало властвовать. И Елизавета Алексеевна властвовала. Не только хозяйственные распоряжения, но и деловые бумаги в присутственные места шли от ее имени. Не спросясь мужа, Елизавета Алексеевна переменила заведенный прежними владельцами поместья – Нарышкиными – порядок. Ввела три дня «барщины старинной», однако и «тарханить», то есть скупать в деревнях разного рода сельскохозяйственные излишки – от меда до овчин, – людям своим не запретила. Нарышкины держали крепостных на оброке, оброк же желали иметь не в натуре, а в ассигнациях; вот их мужики и изворачивались – «подтарханивали» («тарханами» называли в Пензенских краях мелких торговцев-перекупщиков). Арсеньева и рынок в селе своем повелела открыть. Беспокойство, конечно: при рынке – кабак, где кабак, там и гульбище. Но понимала: ежели не дать людям возможности подзаработать, придется «отрезать» от своего надела, своим доходом жертвовать. Число крепостных душ росло, а количество пахотной земли, закрепленной за крестьянским «миром», оставалось прежним. «Отрезать» Елизавета Алексеевна не желала, однако и лохмотья видеть не хотела; вид нищеты весьма неприятно действовал на самолюбие «достаточной помещицы». В результате захудалое Никольское, Яковлево тож, проданное Нарышкиными за бездоходность, стало приносить солидную прибыль (в редкие годы ниже 20 000 рублей).

В ту пору многие из образованных русских дворян, те особенно, кому пребывание за границей сообщило «весьма практическое направление», пытались внедрить в свой быт идею комфорта, то бишь «соразмерного устройства и распределения всех частей помещения, самых малых статей хозяйства, выгодного соображения всех потребностей быта с его способами».

Заморский комфорт на русской почве приживался плохо. А.И.Герцен вспоминает: «Отец мой провел лет двадцать за границей, брат его еще дольше; они хотели устроить какую-то жизнь на иностранный манер, без больших трат и с сохранением всех русских удобств. Жизнь не устраивалась, оттого ли, что они не умели сладить, оттого ли, что помещичья натура брала верх над иностранными привычками? Хозяйство было общее, именье нераздельное, огромная дворня заселяла нижний этаж, все условия беспорядка, стало быть, были налицо».

Новомодных штучек Елизавета Алексеевна не признавала. Жила по старинке: не имение, а маленькое государство. Своя церковь, свой причт, свой врач, свои обойщики, столяры, ткачи, повара, кондитеры, пирожники, свой маленький консервный завод, занятый производством бесчисленного количества солений, варений да фруктовых вод на меду и т. д. и т. п. И, разумеется, собственный придворный живописец – создатель семейной портретной галереи. Ему же, в случае надобности, заказывались и образа для домашней церкви. По смерти Михаила Юрьевича пожелала Елизавета Алексеевна расписать купол усыпальницы семейственной: в центре композиции – Михаил Архангел; лик же святого повелела списать с портрета внука, сделанного в самую счастливую пору их жизни и потому особенно дорогого.

Со всем этим многосложным хозяйством Арсеньева управлялась и без лишних трат, и с толком; прижимиста, бережлива, но в меру, не до потери лица и достоинства. На нужное денег не жалела, без лишнего легко обходилась, не в пример покойному Михайле Василичу.

Домовитостью отличались все сестры Столыпина, особенно Екатерина. Елизавета и Екатерина, почти погодки, росли и выросли вместе. Пристрастие к сестре-подруге Арсеньева перенесла и на дочь Екатерины – Марию, а затем и на внука сестры, Акима, хотя виделась с ней не часто, куда реже, чем с младшими, пензенскими, – Натальей да Александрой. Екатерина Алексеевна вышла замуж за «кавказца», армянина Акима Хастатова, там и прижилась. Крохотное имение Хастатовых находилось в районе Пятигорья, неподалеку от горы Машук, той самой, которой суждено было стать местом последней дуэли поэта, местом его смерти. Екатерину Хастатову, в девичестве Столыпину, кавказские ее знакомцы называли

«передовой» помещицей. И в этом не было насмешки. Чтобы жить и успешно заниматься хозяйством в непосредственной близости от Кавказского фронта, нужно было обладать действительной, а не показной силой духа, а главное, умением не делать ничего впопыхах – отчего происходил в делах надежный и прочный порядок.

В Тарханах же кроме порядка был и уют. Дар этот – умение вить гнездо, защищая его «заветным кругом» забот неусыпных, – был у Елизаветы Алексеевны и смолоду, но расцвета достиг лишь тогда, когда все силы неизрасходованной любви и жара семейственности сосредоточились на обожаемом внуке. Где бы ни останавливалась вдова Арсеньева на временное житье – на Водах Кавказских, в Москве или в Петербурге, она тут же не мешкая начинала обживать и отлаживать «приют» – оборонять Мишеньку уютом. И все это в лишние, не приличные доходам траты не входя, страсти к роскошной отделке наемных квартир не предаваясь, обходясь малыми, полудомашними способами: что полезно да удобно, то и красиво.

С дочерью Елизавета Алексеевна была не в пример суровее. В год смерти мужа, убитая горем, стыдом, а пуще смертной обидой, совсем было решила отправить ее в Петербург, в Смольный. И прошение послано, и ответ получен благоприятный, но за лето передумала: обуздала оскорбленную гордость, и сердце опять повернулось к жизни. В архиве «Воспитательного общества благородных девиц» в списке пансионеров за 1810 год против имени Марии Арсеньевой стоит помета: «Не представлена».

У биографов Лермонтова нет единодушия в отношении к его бабке. И это понятно: среди документов, характеризующих личность госпожи Арсеньевой, есть свидетельства и не в ее пользу. Известно, например: одиннадцать человек дворовых – все, что принадлежало лично Михаилу Василичу, – Арсеньева тотчас по смерти его переписала на свое имя. Прибрала к рукам и большую часть мужниных крепостных, переселенных в Тарханы из Орловской губернии (там были наследственные поместья Арсеньевых) после проведенного по настоянию Елизаветы Алексеевны семейного раздела, которого покойный супруг не удостоился добиться при жизни. По свойственной ему беспечности. По равнодушию к надежной собственности.

По-видимому, с хлопотами о наследстве связаны и частые в первые годы вдовства поездки Елизаветы Алексеевны вместе с дочерью в село Васильевское – вотчину свекра. Когда заходила речь о жизненно важном деле, бабка поэта не считалась со своими чувствами – ни с симпатиями, ни с антипатиями, – если чувства эти не касались тех, кого она без памяти любила, то есть *самых своих*. Господа Арсеньевы после рокового маскарада 1810 года вычеркнуты из списка *своих*, но ладить с ними необходимо, чтобы выколотить из этих непрактичных людей все, что полагалось по закону вдове и дочери покойного.

Все это очень смахивает на скупость, можно употребить и более сильное слово – скардность, и все-таки ни элементарной скупостью, ни боязнью одинокой вдовы упустить лишний кусок поведения Арсеньевой не объяснить.

Надлежало во что бы то ни стало устроить судьбу единственной дочери – не просто выдать ее замуж, а еще и оградить от брачных случайностей. Ведь и подумать жутко, сколько бродит вокруг да около бездельников, готовых в одночасье просвистеть и свое, и женино! Игроков, пустодомов да мотов! Ей ничего не нужно. Все, что у нее есть, – Машино. Но какая из дочери хозяйка? Вся в отца: одни химеры на уме и на сердце. Пусть уж лучше и движимое, и недвижимое остается в ее, по-столыпински надежных руках. У Столыпиных был редкостный на Руси талант – умение превращать бездоходные и захудалые имения в доходные и процветающие.

Глава вторая

Происходили пензенские Столыпины из бедных муромских дворян (две крохотные деревеньки, двадцать душ крепостных). В семьях столь скудного достатка все, что касалось домашнего хозяйства, практиковалось по необходимости с усердием. По необходимости и детей, тем более мальчиков, воспитывали как работников. К десяти годам наследники мелкопоместные должны были и толк в обработке поля понимать, и цены на разные сорта хлеба знать, и лошадь уметь заложить – зимой в сани, в телегу летом.

Это уже потом муромские Столыпины в гору пошли: послепетровской России нужны были молодцы, годные ко всякому полезному делу. Прочные люди, взращенные на вольном деревенском воздухе, на скудных полумужицких хлебах, а не боярские недоросли, зараженные бледной немочью в душных хоробах. В деятелях нужда была, а не в трутнях. Недаром в этой семье по традиции нерушимо держался культ Великого Петра. Вот что писал о Петре I старший из братьев бабушки Лермонтова: «Куда мы ни взглянем, где ни ступим внутри нашего отечества, везде находим следы его трудов, его попечений, везде видим печать его гения».

Самым любимым детищем великого реформатора была регулярная армия, и ей также требовались кадры – солдаты гренадерской стати. Столыпины же и по этой части вроде как в своего легендарного земляка – Илью былинного – пошли: великаны в их роду не переводились.

Воспоминания пензенского чиновника донесли до нас забавный провинциальный анекдот. Отец Екатерины Сушковой (мисс Блэк-айз юношеской лирики Лермонтова), буян, игрок и придира, повздорил как-то с одним из братьев Елизаветы Арсеньевой и, чтобы дать пощечину, вынужден был, схватив стул, взобраться на него. Взбешенный гигант хотел было «смять его как козявку», да не тут-то было: юркий Сушков проскользнул меж столыпинских ног.

А вот еще один анекдот из столыпинской серии – о Дмитрие Аркадьевиче Столыпине: «Росту он был исполинского. Приезд его и посещения затруднялись иногда тем, что для него невозможно было приискать достаточного размера кровати. Но к этому он привык и искусно подставлял стулья, так что мог улечься без помехи».

«Исполиństwo» Столыпиных способствовало рождению полумифов. Граф С.Шереметев, вспоминая о Дмитрие Аркадьевиче, племяннике Арсеньевой и внуке Мордвинова, пишет: «Крымская война заставила его искать более деятельной боевой службы... На Черной речке он совершил подвиг: под градом пуль вынес на плечах своих в виду неприятельской линии тело убитого Веймарна. Французы, пораженные смелостью, при виде этого исполина, мерным шагом отступавшего с телом убитого генерала, прекратили пальбу, выражая одобрение. Это подвиг гомерический, напоминающий сказание об Аяксе...»

Судя по рассказу самого «исполина» («Из личных воспоминаний о Крымской войне»), подвиг был не совсем таким, как в легенде. Дмитрий Аркадьевич Столыпин действительно вынес тело своего начальника из-под неприятельского огня, но не один – с помощью нескольких рядовых. Не упоминает он в записках и о реакции французов. Однако появление легенды знаменательно: в стойком, «не неврастеническом мужестве» лучших представителей этого рода было нечто, поражающее воображение; в «неврастеническое время» оно вполне могло казаться «гомерическим».

Гренадерский рост был не единственной фамильной столыпинской чертой, переходящей из колена в колено. Со столь же неуклонным постоянством наследовался в этом прочном роду и «умный ум». Практический. Лишенный наклонности к мистицизму и мечтательности, основательный и дальновидный, из тех, что видит предмет в его настоящей сущности,

не увлекаясь наружностью. Ни блеска, ни легкости, ни размашистости в Столыпиных не было. Зато это были люди надежные, твердые и, что называется, с правилами: слово не расходилось с делом, поступки – с рассуждениями. Решались они тихо, соразмерно с благоразумием, но, решившись, действовали скоро и успешно, ибо обладали гибким, тонко реагирующим на изменчивость обстоятельств характером.

В бумагах Петра Андреевича Вяземского сохранилась «Записка» об Аркадии Алексеевиче Столыпине (зятё Н.С.Мордвинова и отца Дмитрия Аркадьевича; в конце XIX века «Записка» опубликована в «Русском архиве» П.Бартеневым). Вряд ли оставшийся неизвестным сочинитель «некрологии» помышлял о внуке старшей сестры Аркадия Алексеевича, но когда читаешь ее, невольно думаешь, что многими чертами своей личности (редкая проницаемость в соединении с неутомимой наблюдательностью, умение сосредоточиться на «единой мысли», постоянство воли и, наконец, потребность действовать) поэт Лермонтов обязан своим предкам по столыпинской линии.

Аркадий Алексеевич, утверждает автор «Записки», «не прежде оценивал поступки другого, пока не проникал причины их, и, наблюдая за ними, верно угадывал последствия, отчего редко... ошибался в людях. Знал он по возможности все изгибы сердца человеческого... Когда же размышлял о каком-либо предмете, то старался совершенно проникнуть в оный своим понятием, и тогда ничто не могло развлечь его, доколе он не обозревал предмета своего вполне: такова была в нем сила внимания... В достижении цели... был постоянно мужествен и потому не оставлял того, что предпринимал. Был чрезвычайно деятелен. Один умный человек сказал об нем, что он “спешил жить”».

От Столыпиных же, видимо, досталось Лермонтову и его серьезное, не разменивающееся на пустяки честолюбие. Самолюбие добрейшего и милейшего Михаила Васильевича Арсеньева вполне довольствовалось победами уездного масштаба да лаврами первого актера домашних театров. Братья Елизаветы Алексеевны метили выше. Их отец, выйдя на девятнадцатом году жизни в отставку, пустился, как уже упоминалось, в аферы: винокуренные заводы росли как грибы. Позднее Алексей Емельянович прибрал к рукам и сверхвыгодные поставки военному ведомству все по той же питейной части (одержимый идеей «благонравия», Александр I повелел открыть при каждой армейской части собственные питейные точки, дабы солдаты его величества не теряли достоинства по трактирам, а напивались, не покидая полковых территорий). Словом, дать блестящее образование всем своим «богатырям», а их было ни много ни мало пятеро, и все и умны, и способны, Столыпин-отец сумел, что называется, не надрываясь. Сыновья же не только умно да дельно распорядились предоставленной им возможностью, но и ценить батюшкины заботы умели. И чувство благодарности, и «бугор семейственности» были развиты в этом роду до чрезвычайности. До глубокой старости Алексей Емельянович оставался столпом клана. За несколько лет до его кончины М.М.Сперанский, бывший в ту пору пензенским губернатором, писал в Петербург сыну Алексея Емельяновича и другу своему Аркадию: «Батюшка ваш... очень слаб телом, но довольно бодр еще духом, а особливо поутру. Вечер играет в карты, обедает всегда за общим столом, хотя и не выходит из тулупа. Ноги очень плохи. Прекрасная вещь видеть, как водят его ваши сестрицы из одной комнаты в другую: ибо один он пуститься уже не смеет». Показателен сам тон письма Сперанского – ни тени иронии по отношению к винокуренному степному королю в нагольном тулупе, возглавляющему чинный стол, тон, несомненно, заданный стилем семьи.

Однако, зная образ чувств и мыслей наследников пензенского «нувориша», их подчеркнутую щепетильность в вопросах долга и чести и сам выбор пути – как можно дальше от Пензы и винных откупов, – можно с достаточной степенью вероятности предположить, что их если и не оскорбляло, то все-таки смущало, а может быть, даже и тяготило не слишком благородное происхождение своего нынешнего почти блестящего положения.

В отрывке «Я хочу рассказать вам...» Лермонтов писал: «Во всяком сердце, во всякой жизни пробежало чувство, промелькнуло событие, которых никто никому не откроет, но они-то самые важные и есть, они-то обыкновенно дают тайное направление чувствам и поступкам».

О чувстве, унижительном для их достоинства, сыновья Алексея Емельяновича, надо полагать, никому не сообщали; вряд ли даже, учитывая их воспитание, вполне «тщательное», и личные их «брезгливости», обсуждали щекотливое обстоятельство меж собой. Но, видимо, тайное уязвление все-таки имело место быть; оно-то и подхлестывало их честолюбие, накладывая на него отпечаток особого рода. Тут, на мой взгляд, уместно напомнить, что Николай Семенович Мордвинов, тесть Аркадия Столыпина, родством с которым в семье бабки поэта особенно гордились, как вспоминает одна из дочерей адмирала, «восставал на винные откупа», «противен был ему источник дохода с вина». Мордвинов неоднократно говорил об этом с Александром I, поднимал вопрос о неблагоприятном промысле и в Правительствующем сенате, что было, разумеется, чистым донкихотством. Винные откупа составляли огромный, но скрытый военный налог. Граф Канкрин сказал однажды на заседании Государственного совета: «Легко вам нападать на откупа! Ведь у нас что кабаки, то батальоны». И все-таки по настоянию Н.С.Мордвинова царские гербы с питейных домов были сняты. Противник «доходов с вина» был, думаю, достаточно широк и проницателен, чтобы оценить личные достоинства своего зятя, получившего блестящее образование на «доходы с вина». Он и в дальнейшем с особым уважением относился к мужу любимой дочери; после ее смерти (Аркадий Алексеевич умер раньше) заменил сиротам отца. Впрочем, не только зять Мордвинова, все братья Елизаветы Алексеевны – и Александр, и Аркадий, и Николай, и Дмитрий, и Афанасий, делая карьеру или деньги, были не дельцами, а деятелями.

Александр – любимый адъютант Суворова. Факт, не требующий комментария: людей мелкого пошиба Суворов к себе не подпускал; да и адъютант его знал, под чьим начальством честь имеет служить. Это подтверждает написанная Александром Алексеевичем Столыпиным биография великого полководца.

Николай – генерал-лейтенант, ревнитель военного просвещения, автор книги «Отрывки из записок военного человека». Об этом документе у нас еще пойдет речь в связи с родом военной службы, которую – по следам своего двоюродного деда – выберет Михаил Лермонтов. А пока приведу несколько выдержек из нее; чтобы оценить их по достоинству, надо помнить, что книга писалась в самый разгар аракчеевщины, когда, несмотря на опыт 1812 года, «русская армия продолжала жить под прежним экзерциргаузным режимом, и внешность осталась единственным объектом военного воспитания».

Экзерциргаузный режим требовал неукоснительного соблюдения уставной формы одежды не только от нижних чинов и младших офицеров; ни малейшей вольности не позволяли себе и военные самого высокого ранга. «Великий князь Михаил, – вспоминает служивший под его началом военный, – строго наблюдал, чтобы убор его лошади вполне соответствовал мундиру, в который он был одет». (Шеф гвардейцев имел возможность носить – смотря по настроению и расположению духа – форму любого из вверенных ему полков.) Как-то раз шталмейстер оплошал – «оседлал лошадь к разводу с убором не той части войска, которой мундир надел его высочество». Михаил Павлович Романов пришел в такую ярость, что «совсем не сел на коня», «остался пешим».

Офицеры втихомолку фрондировали, кто-то из острословов пустил по гвардии анекдот: «Жаль, что приметно дыхание солдат, видно, что они дышат...» Николай Столыпин не фрондировал, с помощью слова делал дело, спокойно, не позволяя себе резкостей и выпадов против личностей, объяснял: «В вооружении и одежде войск не следует... смотреть на блеск или красу, но только на пользу... Что может делаться только при смотре или на уче-

ные, должно отбросить как бесполезное и вредное... В обучении войск должно исключить малейшие излишности».

Отвергать «излишности» и выучку, рассчитанную на смотровые эффекты, в то время когда сам император, обожавший игру в «живых солдатиков», был убежден, что война только портит его красивые игрушки? Для этого нужно было отменное гражданское мужество. К тому же автор «Отрывков» критиковал не отдельные недостатки. Его не устраивала система образования армии, начиная от способа набора солдат («в гражданском отношении набор должен быть сколько возможно менее тягостным», «надобно, чтобы все сословия участвовали в составе войск и чтобы каждый воин в гражданине и гражданин в воине видел своего ближнего») и кончая его, солдата, последней физической нуждой.

Несмотря на императивную лексику, «Отрывки из записок военного человека» не производят впечатления свода правил и выводов; делясь личным опытом, автор не декларирует, а предлагает «просвещенному воинству» тему для размышления: «...Решился я издавать их совокупно, уверен будучи, что суждения моих сотоварищей послужат мне полезным наставлением, а может быть, и чтение сих отрывков подаст некоторым из них повод лучше обдумать и предложить менее искаженными предметы, о которых рассуждаю; по крайней мере, я всегда был того мнения, что мыслям взаимное сообщение так же необходимо, как движение воде, без которого она зацветает и гложет».

Написанные в 1817–1819 годах, во время еще не утихнувшего «грома побед», «Отрывки» вышли отдельной книгой в 1822-м. В 1854 году одна из глав – «Опыт об употреблении легкой кавалерии» – переиздана племянником Николая Алексеевича, Дмитрием Аркадьевичем Столыпиным. Крымская война, с ужасающей наглядностью продемонстрировавшая непригодность основных устройств русской армии, подтвердила и актуальность размышлений Николая Столыпина.

Не знаю, как отнеслись сотоварищи Н.А.Столыпина к его предложению – «лучше обдумать и предложить менее искаженными» поднятые им вопросы. Но то, что племянник, переиздавая его сочинения, руководствовался не соображениями семейного престижа, несомненно. Тут было «взаимное сообщение мыслей».

«Я сделаю еще одно замечание, касающееся вообще до экипировки войск. – пишет Дмитрий Аркадьевич в воспоминаниях о Крымской войне. – Один раз генералу Веймарну (Дмитрий Аркадьевич – ординарец Веймарна. – А.М.) нужно было... ехать в главную квартиру с донесением; утомившись после долгой езды, мы взобрались на гору, откуда было видно место, где должна была стоять сотня казаков. Несмотря на начавшийся сумрак... мы при внимательном осмотре заметили белую точку; усугубляя на этот пункт внимание, мы могли рассмотреть, что это была белая лошадь, а продолжая смотреть в ту же сторону, мы различили и других лошадей. Таким образом, белая лошадь открыла нам казаков, поставленных в секрете. В мирное время серые лошади и вообще блестящее в амунии у многих считаются весьма красивыми; но в военное время... это решительно не годится. Для форпостов казачий полк на серых лошадях казался бы непригодным; то же самое можно сказать и о легкокавалерийском полку той же масти, для аванпостной службы».

Казалось бы, мелочь, но сколько в ней характерно столыпинского! И чисто столыпинский метод постижения истины, и чисто столыпинское пренебрежение к внешнему и блестящему, и – опять же – столыпинское умение в частности видеть общее (как будто у Столыпина была не одна, а две пары глаз – с телескопическим и микроскопическим устройством хрусталика).

Не отдохнула богатая столыпинская природа и на другом брате Елизаветы Алексеевны – Дмитрие, родном деде легендарного премьер-министра Петра Аркадьевича Столыпина. Участник войны 1812 года, талантливый и думающий генерал, командир одного из корпусов Южной армии, активно вводивший в своих частях «ланкастерское обучение» солдат и

нижних чинов, Дмитрий, как и Николай, был еще и военным теоретиком, регулярно выступавшим с учеными статьями в «Артиллерийском журнале».

В бумагах Александра I сохранилась запись: «Есть слухи, что пагубный дух вольномыслия или либерализма разлит или, по крайней мере, сильно уже разливается и между войсками; что в обеих армиях, равно как и в отдельных корпусах, есть по разным местам тайные общества или клубы, которые имеют притом секретных миссионеров для распространения своей партии». Далее следуют имена секретных миссионеров, среди которых и имя генерал-майора Дмитрия Столыпина.

Дмитрий Алексеевич скоропостижно скончался в возрасте сорока лет 3 января 1826 года, и первый биограф Лермонтова П.А.Висковатов связывает смерть двоюродного деда поэта с арестами лиц, причастных к восстанию 14 декабря.

Аркадий Алексеевич Столыпин, обер-прокурор Сената, умер несколькими месяцами ранее. По-видимому, и он был так или иначе связан с декабристами. Николай Бестужев показывал на следствии, что покойный А.А.Столыпин одобрял тайное общество, и высказал предположение, почти уверенность: только смерть помешала сенатору действовать в нынешних обстоятельствах вместе с ними. Сведениями более точными мы, к сожалению, не располагаем. Но, во-первых, Николай Бестужев – не из тех, кто не отвечает за свои слова. Во-вторых, Аркадий Столыпин, понимавший службу как служение отечеству, независимо от того, как он относился к идее насильственного переворота, не мог не одобрять перспектив, которые сулила столь радикальная перемена в гражданской жизни россиян. Ведь перемена эта давала выход и его честолюбию, увлекаемая возможностью наконец-то подключить свою энергию и свой деятельный ум к настоящему государственному делу.

Словом, лидеры декабризма в случае захвата власти несомненно рассчитывали на сотрудничество и деловые качества как адмирала Мордвинова, так и его энергичного зятя. Об этом точнее, чем подследственные показания Бестужева, свидетельствуют стихи Рылева, обращенные к сиротам Аркадия Алексеевича: «Пусть их сограждане увидят / Готовых пасть за край родной, / Пускай они возненавидят / Неправду пламенной душой. / Пусть в сонме юных исполинов / На ужас гордых их узрим / И смело скажем: знайте, им / Отец Столыпина, дед Мордвинов».

Как человека в высшей степени независимого от «общего мнения» характеризуют Аркадия Алексеевича Столыпина и его отношения с Михаилом Михайловичем Сперанским, с которым Александр I, по ироническому замечанию князя Петра Долгорукова, некоторое время занимался «мечтами конституционными».

Познакомились Столыпин и Сперанский еще до того, как император остановил благосклонный взгляд на «конституционном мечтателе». Войдя в фавор, Сперанский не забыл талантливого и честолюбивого провинциала. Это по его протекции Столыпин получил приличное его дарованиям назначение – «с перемещением в правительствующий Сенат, за обер-прокурорский стол».

17 марта 1812 года Сперанский по обвинению в государственной измене был арестован и выслан с «редкостной в это правление срочностью» в Нижний Новгород. В чем состояла суть измены, не мог постигнуть даже самый тонкий исторический ум того времени – Николай Карамзин: «История Сперанского есть для нас тайна: публика ничего не знает. Думают, что он уличен в нескромной переписке. Его все бранили, теперь забывают. Ссылка похожа на смерть».

Аркадий Алексеевич не предал попавшего в опалу друга и единомышленника. Несколько раз навещал в ссылке, и не просто для того, чтобы утешить, – «старался доставить ему безопасность и спокойствие», «приискивая все средства для облегчения его положения». Крамольные визиты не оставались тайными – ни для тайной полиции, ни для Александра I. Кроме того, поддерживая изгнанника, Столыпин дразнил не только государя – он восста-

навливал против себя общественное мнение. К осени 1812 года Нижний Новгород оказался центром эвакуации, он был буквально оккупирован беженцами из захваченных Наполеоном губерний. Потерпевшие урон от французов настроены были, как и следовало ожидать, крайне патриотично – контактов с государственным изменником избегали. Вскоре Сперанского переслали подальше – в Пермь, но слухи об его изменничестве продолжали бродить по России. Достигли они и Пензы, и как раз в тот момент, когда Аркадий Алексеевич по делам службы оказался в родных краях (занимался формированием пензенского ополчения). Патриоты пензенской округи всполошились и, собравшись в губернаторском доме, настрочили донос главноначальствующему генералу Булычеву. На Аркадия Столыпина – злодея, опасного в настоящих обстоятельствах. Стиль доноса – истинно гоголевский: «Будучи в тесной связи с предателем Сперанским, может быть, имеет он и тайные сношения с Наполеоном».

Как откликнулся главноначальствующий на врученное ему нарочным послание, мы не знаем, но известно: Столыпин в самый разгар «опасных обстоятельств» умудрился счастливо и выгодно влюбиться в дочь Мордвинова – Веру Николаевну. И предложение скоро сделал, и согласие тут же получил, и свадьбу сыграли не мешкая. У пензенских обывателей аж дух захватило – от зависти, а пуще от недоумения: экая рыбка морская попалась «в сатанинские сети Столыпина»!

Словом, русская покорность «общему мнению» – свойство, столь сильно ненавидимое Лермонтовым, – не входила в столыпинские «правила». Эти сильные и решительные люди жили не по общему, а по своему установлению, потому, видимо, и казалось: в среде, где измелчание личности приобрело характер почти фатального закона, они существуют вне этого закона, вопреки или наперекор ему. Обстоятельства, однако, сложились так, что к тому времени, как Лермонтов «из детских вырвался одежд», из братьев его бабки в живых остался лишь самый младший – Афанасий. Любимец Арсеньевой, Афанасий Алексеевич был и скроен, и сшит по лучшим столыпинским лекалам: ладно и крепко. Единственное, чем обделила его судьба, было честолубие. Старшим в избытке, с лихвой отвалила, а на младшеньком словно бы экономию навела. Отличный строевой офицер, выбравший артиллерию по следам Дмитрия, он рано вышел в отставку и с головой окунулся в местные саратовские проблемы (имение А.А.Столыпина Нееловка находилось в Саратовской губернии).

Афанасий был последним ребенком Алексея Емельяновича и Марии Афанасьевны, урожденной Мещериновой. Когда он родился, Елизавета, старшая, уже заневестилась. Его и воспитали иначе, в надежде, что это последнее, такое удачное да крепкое яблочко недалеко от яблоньки укатится – будет опорой и утешением на старости лет. Последыш надежды оправдал. Оставшись по смерти братьев за главного, Афанасий Алексеевич волей-неволей вынужден был стать «столпом клана» – взвалить на свои, к счастью, могучие плечи нелегкое бремя долга семейственного, многотрудную и хлопотливую роль старшего в огромном роду. Его энергии, сметки, здравого смысла и доброжелательности хватало на то, чтобы оказывать самые разнообразные услуги своим близким, особенно вдовым сестрам и невесткам. И все это делалось без шума, но с твердостью. И по-столыпински разумно и споро.

В детстве Лермонтов был очень привязан к младшему брату своей бабки, благо жил тот почти по соседству, женился поздно и был чрезвычайно легок на подъем. К Афанасию Алексеевичу по завещанию перешли Тарханы, его же, в случае своей смерти, Елизавета Алексеевна назначила опекуном внука.

Как и все Столыпины, Афанасий Алексеевич прекрасно рассказывал. Правда, объем «приключений», выпавших на его долю, был не слишком велик, но все же ему довелось стать участником Бородинского боя. А это сюжет неисчерпаемый, он воспламенял воображение детей, входивших в жизнь после грозы Двенадцатого года:

«Наш батарейный командир Столыпин, – вспоминал на старости лет один из участников Бородинского сражения, – увидев движение кирасиров, взял на передки, рысью выехал

несколько вперед и, переменяв фронт, ожидал приближение неприятеля без выстрела. Орудия были заряжены картечью, цель Столыпина состояла в том, чтобы подпустить неприятеля на близкое расстояние, сильным огнем расстроить противника и тем подготовить успех нашим кирасирам... Под Столыпиным убита его лихая горская лошадь».

Как близок этому «мемуару» – и интонационно, и по сути – рассказ бывалого артиллериста в «Бородине»: «Повсюду стали слышны речи: / “Пора добратся до картечи”». И еще: «Забил заряд я в пушку туго / И думал: угощу я друга! / Постой-ка, брат мусью!».

Как и лермонтовский Максим Максимыч, Афанасий Столыпин всего лишь штабс-капитан; это старшие братья в генералы вышли, а он так и остался простым армейцем. И когда читаешь его письма к Алексею Аркадьевичу Столыпину – красавцу, льву и повесе, «белой вороне», «нравственному уроду» в семье, – не можешь отделаться от мысли: уж очень все это напоминает странные отношения Максима Максимыча и Печорина. Никак не может понять стареющий, но все еще крепкий отставной штабс-капитан, что носит по свету непутевого – при таких-то данных! – племянника и чего тот хочет от жизни. Больше года потратил обязательный Афанасий Алексеевич, чтобы получить от этого непонятного человека документы, необходимые для ввода во владение его же собственным именем: то сплин, то любовь. «Извини, любезный друг, – пишет Афанасий Столыпин одной из своих «правильных» племянниц, – что я затруднил тебя сею моею комиссиею, но не зная... где шатается Алексей Аркадьевич, я решил адресоваться к тебе, как к человеку аккуратному».

Словом, повзрослев, Лермонтов оценил и даже усвоил уроки простого и серьезного взгляда на жизнь, какие в детстве и отрочестве преподавал ему Афанасий Алексеевич Столыпин, вперемежку с занимательными отрывками из Бородинской военной истории. А вот в первой юности сердечную привязанность к любимому «дядюшке» глушила тоска по ушедшим «богатырям» и горделиво-презрительное («богатыри – не вы») отношение к тем, кто «пережил свое прошедшее», кто за заботами о хлебе насущном утратил «высшие интересы», кто разменял Дело на множество мелких житейских дел.

В юношеском презрении к «ничтожеству» Лермонтов невольно, но искажал истину. Заботы о хлебе не были для Афанасия Алексеевича лишь заботами о «доходах с хлеба». За ними: любовь к земле и профессиональное, я бы даже сказала, государственное отношение к обязанностям землевладельца – черта, кстати, свойственная не только Афанасию. За редким исключением, вроде друга Лермонтова Алексея-Монго, Столыпина не принадлежали к типично русским барам, смотревшим на свои поместья лишь как на источник дохода. Во все вникали лично, не доверяя случайным управляющим, не разоряли, а обустроивали землю, подходя и к этому делу не только с практической, но и с теоретической стороны; и тут, подстрекаемые «умным умом», связывали частности общей мыслью. Сын Аркадия Алексеевича, младший брат Монго, уже известный нам Дмитрий, в юности гвардеец, войдя в возраст зрелости, вернулся в саратовское свое имение. Насовсем. С твердой и ясной идеей: вложить всю – без остатка – жизнь в дело землеустройства.

Вот что пишет о нем наблюдательный современник:

«Воспитанный первоначально в мордвиновском доме, он перешел потом под покровительство дяди Афанасия Алексеевича Столыпина, бородинского героя и богатого саратовского помещика, и воспринял от него многое, чему следовал в жизни. Пример дяди рано развил в нем стремление к занятию сельским хозяйством и к вопросам, прикосновенным к этой важнейшей области народного благосостояния... Получив за Севастополь золотое оружие... стал усиленно заниматься усовершенствованием многочисленных имений, как своих, так и опекаемых им. Слава хорошего хозяина привела к тому, что к Дмитрию Аркадьевичу стали обращаться за практическими советами и ему пришлось принять не одно расстроенное имение, которое в руках его снова приходило в цветущее состояние. Доброта Дмитрия Аркадьевича и попечение о благе и пользе не имели пределов».

Словом, Дмитрий Аркадьевич унаследовал от дядюшки не только влиятельное положение в семье и жизненные правила. Но дядюшка был практик, а племянник оставил несколько сочинений с теоретическим уклоном: «Два вопроса земледельческого и общего образования», «Хутора и деревни», «Из личных воспоминаний о Крымской войне и земледельческих порядках до и после реформы», «Граф Н.С.Мордвинов в его сельскохозяйственной практике» и т. д. В этих работах внук Мордвинова, о котором Пушкин говаривал, что он один заключает в себе всю русскую оппозицию, предстает перед нами сторонником инакомыслия, *противуречия* с общим мнением. Полемизируя и с народниками, и со славянофилами, уповавшими на возрождение крестьянской общины, Дмитрий Аркадьевич настаивал: община с ее круговой порукой и практикой передела, убивающей в мужике страсть к земле, является «корнем экономических неустроений русского народа»: «Надо также взять во внимание и развитие личности: России нужен класс самостоятельных земледельцев, что может быть только при отдельном хозяйстве». По сути дела, именно на этой наследственной идее и въехал Петр Столыпин, молодой саратовский губернатор, и в роскошную резиденцию премьер-министра, и на трибуну Государственной думы. Словно для того туда и поднялся, чтобы с авторитетной сей высоты предложить трудовой России верное средство от вековых «неустройств русского народа»: «Нельзя ставить преграды для обогащения сильного».

И государственная роль «пленного рыцаря частной собственности», и причины слишком быстрого «выгорания этой роли» – отдельный, специальный, нелитературный сюжет. Но если отвлечься от политики, нельзя не заметить: в этом ультрарусском американце была доведена до концентрата феноменальная столыпинская практичность, борясь с которой «делал себя» юный Лермонтов.

Но это только внешняя, фасадная, сторона проблемы. Юпитеры, в которые по хотению истории попал Столыпин-последний, позволяют разглядеть в личности этого крупного государственного деятеля и еще одно качество, доставшееся по капризу генетического кода и его антиподу, – редкостное в России «постоянство воли».

А вот еще одно «непостижное уму» совпадение.

Пять лет понадобилось Петру Аркадьевичу Столыпину, чтобы из провинциального полуничтожества войти в Большую Историю.

Пять неполных лет, с февраля 1837-го по июль 1841-го, судьба для той же цели отмерила и отрезала раз и навсегда троюродному его брату.

Даже в загадке их смерти есть какое-то пугающее подобие. Что заставило нервного молодого человека, еврея по национальности, совершить убийство, стопроцентно не выгодное ни ему лично, ни его «племени»? Ведь осуществи Столыпин задуманные им реформы, «тюрьма народов» еще на веку этого загадочного убийцы почти наверняка стала бы чем-то вроде «второй Америки». Ничуть не более понятно и поведение Мартынова. Сколько затрачено интеллектуальных усилий, сколько выдвинуто головоломных версий, а гипотезы так и остаются гипотезами...

Размышляя о причинах, побудивших Лермонтова в первые годы юности обороняться от всего «столыпинского», надо принять во внимание и следующее обстоятельство. За Столыпинскими, наряду с несомненными добродетелями, водились свойства и не совсем добродетельные: они никогда не упускали *своего*. На чужое не зарились. Большому богатству не завидовали. Зато за свое, законное, держались цепко и ухватисто.

В глазах юного Лермонтова, одержимого мечтой о «земном всеобщем братстве», страстная приверженность к *своему* выглядела презренной. Она и в самом деле бывала порой не слишком симпатичной. Возьмем, к примеру, такой эпизод из биографии Аркадия Алексеевича Столыпина, как тяжба из-за дачи в районе Усовки. Принадлежащая ему часть находилась в одной окружности с селами, которыми владели брат Николай и муж его сестры Натальи – Григорий Данилович Столыпин, тоже родственник, только очень дальний, седьмая

вода на киселе. Женившись, Аркадий Алексеевич решил навести и в этом наделе необходимый ему порядок. Сказано – сделано. Наняли вольного практика (так в ту пору именовались землемеры), обмерили окружность и разделили – согласно закону. Однако при межевании произошло недоразумение: землемер оплошку допустил – двести десятин от надела Григория Даниловича по вине вольного практика было приписано к наделу Аркадия Алексеевича. Выяснилось это уже после того, как уездный суд подписал и утвердил дележ на основании представленных обмеров. Григорию Даниловичу взбрело на ум (как-никак, а тоже столыпинского древа отросток) перепроверить меру. И завертелось... По совести истина была на стороне Григория Столыпина, по закону – на стороне Аркадия Алексеевича, ибо закон гласил: «Объявив тягающимся сторонам свое решение, судебное место ни отменить, ни изменить его не властно».

Григорий Данилович завел переписку с высокопоставленным шурином – не помогло. Не помогло даже деликатное вмешательство Сперанского, понимавшего, сколь многое теряет его друг от неблагоприятной тяжбы. И тайне страдал от неблагообразия конфликта, и письменно высказывался, несмотря на то что был обязан сенатору, ссудившему ему на покупку имения 50 тысяч рублей. И к совести взывал Михаил Михайлович, и к благоразумию: «Вам должно бы сойтись с Григорием Даниловичем. Сие весьма нужно и для родственных связей, и для вашего имени, коему он всегда может делать множество мелких притеснений». Тщетно: двести из причитающихся Григорию Даниловичу дачных десятин, в пересчете на ассигнации – пятнадцать тысяч, остались все-таки за Аркадием Столыпиным: имя именем, а деньги – деньгами. Лермонтов, хотя в разгар этой тяжбы был всего лишь «любезным дитятей», не мог о ней не знать: приезжая в Пензу, Елизавета Алексеевна имела обыкновение останавливаться у сестры Натальи. И дом удобнее, чем у Александры, жены Евреинова, и Мишеньке веселее: младшие Григорьевичи – почти сверстники.

Трудно предположить, что Михаилу Юрьевичу не было ничего известно и о другой тяжбе, той, что «выиграл» родной его дед Михаил Васильевич Арсеньев; номер «Вестника Европы» с «Письмом из Чембара» Елизавета Алексеевна из тарханской библиотеки не изьяла. Какой материал для сравнения, какая пища для размышлений «о людях и страстях»! Ведь и в нежно любимой им бабушке был тот же «изъян души»! Для тех, кто видел ее только в гостиных, «старушка Арсеньева» была и оставалась «женщиной, совершенно замечательной по уму и любезности». Имевшие же с ней дело примечали за вдовой и другое: прижимиста и себе на уме. Все, до последней копейки, получила с господ Арсеньевых. Хотела то же самое проделать и с Лермонтовыми по смерти зятя, но тут уж внук воспротивился, настоял не на законном, а полюбовном разделе отцовского наследства. Юрий Петрович Лермонтов умер в 1831 году, но только шесть лет спустя Елизавете Алексеевне удалось заполучить у Михаила Юрьевича доверенность на ведение дела о кропотовском имении. Согласившись на полюбовный раздел, Елизавета Алексеевна, по ее подсчету, потеряла верных десять тысяч. Потеря была чувствительной, но госпожа Арсеньева, может быть, впервые в жизни не жалела об убытке. Своего имени она не берегла – ее «Париж» стоил «мессы», но именем внука рисковать не хотела; боялась, что тетки, сестры покойного зятя, обидятся – разорила-де их, и Мише достанется, что «не хотел ее упротить».

И все-таки не будем, подобно некоторым биографам Лермонтова, ставить знак равенства между Марфой Ивановной Громовой, скупердйкой из ранней драмы Лермонтова «Люди и страсти», и Елизаветой Алексеевной. Марфа Ивановна, как и Григорий Печорин, – портрет, но не одного человека; характер, составленный из «пороков» целого клана, причем без поправки на их же достоинства. И чем старше становился правнук Алексея Емельяновича Столыпина, тем отчетливей понимал: столыпинская линия шире, чем верно-надежное средство сохранить и умножить достояние во времена всеобщего разорения дворян и экономической паники. Столыпины искали способ борьбы с русскими неустройствами, пытались

– не большой горой, так соломиной – осилить (для примера и подражания) беду неминуемую и неотвратимую.

И стойкость, с какою Столыпины свое гнули, и способность их устоять, не потеряться в общем замешательстве Лермонтов очень даже способен был оценить, тем более что видел – предвидел? предчувствовал? – безнадежность, историческую обреченность этого противостояния меньшинства большинству: в идею спасения целого народа способом полумер он не верил. В воспоминаниях князя Мещерского описан весьма показательный случай. Александр Васильевич Мещерский, познакомившийся с Лермонтовым в 1840 году, был наследственным «экономом». Однажды в присутствии Михаила Юрьевича зашел разговор об интенсивном хозяйстве, модном среди «экономствующих» помещиков. Выяснилось: Лермонтов питает к этой идее «полное недоверие». Александр Васильевич, человек недалекого ума, связывает это недоверие с пренебрежением поэта к сельскому хозяйству («ковырянию в земле») и в доказательство приводит оформленный под малороссийский анекдот рассказ поэта о своей попытке выяснить, почему его имение не приносит дохода (речь, по-видимому, идет о маленькой деревеньке в Орловской губернии, арсеньевском наследстве, куда Лермонтов мог заехать по дороге на Кавказ):

«Призываю хохла-приказчика, спрашиваю, отчего нет никакого дохода. Он говорит, что урожай был плохой, что пшеницу червь попортил, а гречиху солнце спалило. – Ну, я спрашиваю, а скотина что? – Скотина, говорит приказчик, ничего, благополучно. – Ну, спрашиваю, куда молоко девали? – На масло били, отвечал он. – А масло куда девали? – Продавали, говорит. – А деньги куда девали? – Соль, говорит, куповали. – А соль куда девали? – Масло солили. – Ну а масло куда девали? – Продавали. – Ну а деньги где? – Соль куповали! – И так далее...» «Не истинный ли это прототип всех наших русских хозяйств? – сказал Лермонтов и прибавил: – Вот вам при этих условиях не угодно ли завести интенсивное хозяйство!»

Анекдот – при видимой его несерьезности – весьма серьезен, ибо свидетельствует не о высокомерном пренебрежении к «ковырянию в земле», а о том, что Лермонтов не только достаточно размышлял о сем предмете, но и «обозрел его вполне своим понятием». Для этого ему, кстати, в отличие от А.В.Мещерского и подобных Мещерскому дилетантов от экономики, не нужно было годами накапливать опыт. Он, как и все Столыпины, схватывал сущность явления или человека в «краткий миг»:

Есть чувство правды в сердце человека,
Святое вечности зерно:
Пространство без границ, течение века
Объемлет в краткий миг оно.

Глава третья

Как видим, и с крестной матерью, и с крестным отцом мальчику, родившемуся в послепожарной Москве в ночь со 2 на 3 октября 1814 года, вполне повезло. С родителями повезло меньше: он и в самом деле был «сыном страдания».

1811 год.

В этом году пехотный капитан Юрий Петрович Лермонтов вышел по болезни в отставку и вернулся в свое имение – тульское сельцо Кропотово с явным намерением сделать выгодную партию, то есть удачно жениться. Неподалеку от Кропотова, верстах в тридцати, находилась вотчина Арсеньевых, куда в связи с хлопотами о разделе наследства зачастила и госпожа Арсеньева с «малолетней дочерью».

Арсеньевы, это явствует из «Записок» А.Т.Болотова, жили, что называется, нараспашку. Гостеприимство было их страстью. Гостей зазывали, обласкивали, закармливали. Хозяева из тех, у кого каждый день на счету, стороной объезжали Луковицы; зато изнывающие от деревенской скуки соседи при каждой оказии наведывались к Арсеньевым и, естественно, попадали в «свою провинцию» – с утра до вечера благодушное, без затей, удобное ничегонеделанье. Двадцатичетырехлетний кропотовский помещик пришелся кстати. В этом шумном и безалаберном доме и произошло то, чего больше всего боялась Елизавета Алексеевна: Машенька, Марья Михайловна, Мари влюбилась в Юрия Петровича Лермонтова.

Арсеньевы обрадовались неожиданному развлечению до восторга и на Елизавету Алексеевну попробовали воздействовать: браки-де совершаются на небесах. Аргумент сей не произвел никакого впечатления на суровую их сноху: наотрез отказала – не быть по сему.

Машенькин избранник был хорош собой (среднего роста, редкий красавец и прекрасно сложен), обаятелен, сведущ в «науке страсти нежной», начитан, наслышан (окончил Петербургский кадетский корпус) и даже добр, хотя и вспыльчив. Но все это, включая начитанность, в столыпинском кругу не относили к числу мужских достоинств. А вот недостатков – множество, и самый главный – бедность. Юрий Петрович Лермонтов и в самом деле был не просто небогат, а именно беден; имение – маленькое, заложенное-перезаложенное, а в придачу к долгам – три незамужние сестры («большие уж девки») да мать, ни к домоводству, ни к земледовству не усердная. Впрочем, и Юрий Петрович сельскохозяйственного рвения не проявлял; он вообще не проявлял никакого рвения – это-то и было печальнее всего. Деньги в конце концов и нажить можно, нажил же батюшка. Но молодец Машиного выбора, по всему видать, не из той породы. На взгляд Елизаветы Алексеевны, горе-жених вообще ничего не умел, кроме как «амуры строить», то есть по ее, столыпинскому разумению был совершенно бесперспективен.

Не надеясь на собственную проницательность, Елизавета Алексеевна стала собирать слухи: в выход из службы по болезни она не верила – какая хворь в двадцатичетырехлетнем щеголе? Слухи усугубили замешательство вдовы Арсеньевой: «игрок и пьяница, спившийся с кругу».

Этого еще не хватало! Ни игроков, ни пьяниц Столыпины и близко к себе не подпускали, как прилипчивой хвори, боялись. А хворь год от году становилась все прилипчивей – эпидемия, да и только! Острый недостаток средств к существованию заставлял искать пополнение в картежной игре; несколько состояний, нажитых таким образом – по счастливой игре в карты, – поддерживали надежды. Столыпины в ненадежной лотерее не участвовали; их жизнестойкости, рассчитанной на долгий «марафон», был противен «спринтерский» метод. Противен и недоступен: основательная кровь не разогревалась, не приводилась в волнение столь неосновательным, миражным соблазном.

Но даже если не верить слухам, а цену слухам Елизавета Арсеньева знала, жизненный опыт, опыт собственного замужества, безошибочно подсказывал материнскому сердцу, что жених – в придачу ко всему – ненадежен. Ненадежен в том же смысле, что и покойный Михайла Василич. Елизавета Алексеевна кое-как приспособилась к жизни с непутевым мужем. Но это она, Лиза Столыпина. Дочери такую ношу не осилить. Ну а кроме того, если уж честной быть, в Михаиле кроме неосновательности и достоинства были: хорошая дворянская фамилия, не особенно знатная, но давнишняя; опять же связи, а связи по нынешним временам надежнее денег. Опять же Михайлу Василича Елизавета Алексеевна насквозь видела: прозрачен, как стеклышко, к Светлому воскресенью промытое. Весь тут. На виду. А этот кропотовский красавец что омут темный. И любезен, и разговорчив, а скрытен. Скрытен и привередлив: то то не так, то это. Переменчив.

Но Машу как подменили.

Мы очень мало знаем о матери Лермонтова. Несколько ее изящных, но малооригинальных французских стихотворений. Поясной портрет работы крепостного мастера... П.Шугаев, ссылаясь на воспоминания земляков поэта, утверждает, что Мария Михайловна – «точная копия своей матери, кроме здоровья, которым не так была наделена». Портрет свидетельствует о другом: ни материнской властности, ни столыпинской вальяжности; но и в общем выражении лица, и в лепке скул, и в очерке твердого рта – что-то мальчишеское, почти дерзкое. А главное – глаза: не материнские, огромные, темные – «лермонтовские» глаза.

Лицо живой матери Лермонтов, оставшийся сиротой в два с небольшим года, несмотря на редкостную память, позабыл. Осталось смутное, музыкальное впечатление: «Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что если б услышал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать». Может быть, рассказами родных о детстве матери навеян образ маленькой Нины в «Сказке для детей»:

Она росла, – как ландыш за стеклом
Или скорей как бледный цвет подснежный.

Образ этот совпадает с тем, какой создает П.А.Висковатов, основываясь на устных рассказах очевидцев:

«Марья Михайловна, родившаяся ребенком слабым и болезненным, и взрослою все еще глядела хрупким, нервным созданием... В Тарханах долго помнили, как тихая, бледная барыня, сопровождаемая мальчиком-слугою, носившим за нею лекарственные снадобья, переходила от одного крестьянского двора к другому с утешением и помощью, помнили, как возилась она с болезненным сыном... Марья Михайловна была одарена душою музыкальною. Посадив ребенка своего себе на колени, она заигрывалась на фортепьяно, а он, прильнув к ней головкой, сидел неподвижно, звуки как бы потрясали его младенческую душу и слезы катились по его личику. Мать передала ему необычайную нервность свою».

Осталось и еще одно свидетельство – сослуживца Михаила Юрьевича по гусарскому полку: «Стороной мы слышали, что... история его матери целый роман». А ведь и в самом деле – целый роман, причем из тех несочиненных романов, где живая, непредсказуемая жизнь «играет», по счастливому выражению П.А. Вяземского, «роль писца».

Столыпины, а значит и Елизавета Арсеньева, относились к брачным союзам в полном соответствии со своими правилами и с общей «марафонской» жизненной установкой: мезальянсов ни в ту, ни в другую сторону себе не позволяли. Личный сердечный интерес не должен был вступить в *противоречие* с интересами рода. Ведь новую овцу брали не только «за себя», но «и в род свой», и она не должна была портить «породу» – ни излишней тонкорунностью, ни «паршивостью». На ровнях женились, сук по себе гнули. Один Дмитрий Алек-

сеевич, вольтерьянец и умник, восстал против обычая: «без воли» – советов родительских не спросясь – женился. На белоручке, неженке-музыкантше – Екатерине Аркадьевне Анненковой. Событие это было воспринято в Пензе драматически: а вдруг пустодомкой жена окажется, даром что приглядна? Или хуже того: брезгулей да чистулей? Замучает и мужа, и домашних? А что, если мотать начнет? На одних нарядах при нынешних-то ценах состояние истощить можно!.. Лишь известие о восстановлении Аркадия в сенаторском чине, о милостивом его прощении и возвращении за обер-прокурорский стол спасло Алексея Емельяновича от верного удара – «покрыло и умерило горечь, с которой он принял женитьбу Дмитрия». Но лишь умерило. О том, сколь шумен был переполох, вызванный вольным поступком Дмитрия, можно судить по письму Михаила Михайловича Сперанского его брату Аркадию: «Дмитрия с женою... ожидаем здесь (то есть в Пензе. – А.М.) 1 декабря. Ему бедному много хлопот, мать неумолима, но мы предполагаем, что она расположит свое поведение по-здешнему».

С Екатериной Аркадьевной, по счастью, обошлось: сумела расположить свое поведение. Пензенских меломанов очаровал ее талант. («Каждый день я слушаю ее и не могу наслушаться... Это второй Фильд...» – из письма М.Сперанского А.Столыпину.) Родственники, приглядевшись к молодой, сообразили: эта стада не испортит. И правы оказались: и жена, и мать, и хозяйка из рафинированной музыкантши вышла преотличная. Даже сестер мужа по части домовитости превзошла.

Нам, с нашими нынешними представлениями, отношение Столыпиных к браку может показаться обыкновенным, общим для людей их круга. Но это далеко не так. Столыпина даже в этом вопросе принадлежали к меньшинству, идущему не по, а против течения. Куда более характерной была, к примеру, брачная эпопея Евдокии Петровны Сушковой. Поскольку и сама эта женщина, и все, что произошло с ней из-за опрометчивого замужества, имеет отношение к нашему сюжету, есть резон рассказать об этой эпопее подробнее.

Евдокия Петровна, или, как называли ее друзья и знакомые, Додо, росла сиротой при живом отце в доме деда по матери – Пашкова. Жили Пашковы безалаберно, спустя рукава, и к началу тридцатых годов оказались на грани разорения. Стучавшаяся в двери «недостаточность» не мешала Пашковым развлекаться. Тетки Додо обожали выезды, старики с утра до вечера играли в карты, Додо блистала на всех московских балах, а в промежутках писала стихи. Проездом через Москву князь Вяземский списал одно из ее стихотворений, а вернувшись в Петербург, пропечатал в «Северных цветах». Анонимно, конечно, но о том, что опубликованный в столице «Талисман» сочинен черноглазой внучкой Пашковых, знала вся Москва. Узнали, разумеется, и Пашковы. И разгневались. Бабка взяла с внучки клятву: ничего не печатать до замужества.

Много лет спустя Николай Огарев, тоскуя по юности, вспомнил и о милой московской барышне Додо Сушковой, в которую, как и многие из ее бальных кавалеров, был по-студенчески влюблен, «не слишком, а слегка»:

Двором широким проезжая,
К крыльцу невольно торопясь,
Скакал, бывало, я, мечтая —
Увижу ль вас, увижу ль вас!
Я помню (годы миновали!),
Вы были чудно хороши,
Черты лица у вас дышали
Всей юной прелестью души.
В те дни, когда неугомонно
Искало сердце жарких слов,

Вы мне вручили благосклонно
Тетрадь заветную стихов...
Листы тетради той заветной
Я перечитывал не раз,
И снился мне ваш лик приветный
И блеск, и живость черных глаз.

К той же поре, кстати, относится и новогодний мадригал Лермонтова – «Додо». Но Огарев запомнил лишь живой блеск глаз да юную прелесть, а Лермонтов – в жанре мадригала – создал удивительный по проникновению в суть «милрой барышни» портрет, и притом портрет «на вырост», с учетом будущности, его обещаний; оттого и сходство с годами становилось все очевидней:

Умеешь ты сердца тревожить,
Толпу очей остановить,
Улыбкой гордой уничтожить,
Улыбкой нежной оживить;
Умеешь ты польстить случайно
С холодной важностью лица
И умника унижить тайно,
Взяв пылко сторону глупца!
Как в Талисмане стих небрежный,
Как над пучиною мятежной
Свободный парус челнока,
Ты беззаботна и легка.
Тебя не понял север хладный;
В наш круг ты брошена судьбой,
Как божество страны чужой,
Как в день печали миг отрадный!

В одном только ошибся юный предрекатель судеб человеческих: в кругу большого света Додо не чувствовала себя «божеством страны чужой». Наоборот! Только на этих подмостках сознавала себя на месте. Ее живому, ртутному изяществу нужна была рама – «и блеск, и шум, и говор балов». Только здесь, на узорных паркетах, отраженная во множестве огромных зеркал, чувствовала себя победительницей. Недаром так любила рядиться амазонкой: золотая каска с перьями, панцирь из золотых лилий да колчан со стрелами, хотя и не обладала приличной сей маскарадной роли статью – уж слишком легка и станом неосновательна.

Судя по акварели П.Ф.Соколова и дагеротипу, Евдокия Петровна красавицей не была, но в первой юности недостаток правильной красоты искупался живостью, умом, несомненной незаурядностью натуры. И когда в 1833 году в Москву на осенне-зимнюю ярмарку невест прикатил один из самых богатых женихов России – молодой граф Ростопчин (сын того самого «поджигателя») и, к великой радости Пашковых, остановил свой выбор на их внучке, в Москве зашушукались: Додо была влюблена в Александра Голицына. Об этом романе было известно не только подругам Евдокии Петровны, но и их родителям, а значит – «всему свету».

Несколько лет спустя Евдокия Петровна Ростопчина написала повесть «Чины и деньги», где, подстрекаемая «аналитическим духом века», сделала попытку проанализировать историю и своей любви, и своего замужества.

Вот как объясняет главный герой повести поведение любимой девушки: «Она отдала мне все сердце, всю душу, ни разу не подумав, что ей следует присоединить к ним и руку свою. Я был избранный ею друг, но никогда не воображала она, что я мог ей быть женихом».

Коллизия в основе, несомненно, автобиографическая, так же как и основной мотив прощального письма героини: «Прости меня, прости меня, Вадим! Я люблю тебя по-прежнему – нет! больше прежнего... но я не могла противиться – мне грозили деревней, Костромой, заточением – бог знает чем!»

Оформляя действительное происшествие «под роман», графиня Ростопчина вводит в повествование отсутствовавшие в жизни моменты: самоубийство героя, смерть героини и т. д. Действительность обошлась без романтических ужасов. Додо и выйдя замуж продолжала жить в убеждении: избранник сердца и муж законный – вещи несовместные, жизнь не роман и роман не жизнь.

Для Марии Михайловны Арсеньевой этот типичный образ мыслей девиц на выданье был неприемлем. Отдав душу, она тут же пообещала «избранному сердцем другу» и свою руку. И выполнила обещание: заставила Елизавету Алексеевну дать согласие на брак.

Приведенная выше выдержка из воспоминаний сослуживца Лермонтова – «история его матери целый роман» – и отсутствие точных данных о времени и месте бракосочетания Марии Михайловны Арсеньевой и Юрия Петровича Лермонтова породили множество фантастических гипотез. Но, думается, обошлось без банальностей, как новомодных – добрачная связь, так и старомодных – тайный брак. Как-никак, а Мария Арсеньева была дочерью своего отца и вполне могла предъявить здравомыслящей матери безумный, в духе Арсеньева, ультиматум: или дать-подать друга сердечного Юрия свет Петровича, или пузырек с ядом!

Да и Елизавета Алексеевна была не из тех, кто ничему не учится. Слишком дорога была ей дочь, слишком памятен новогодний маскарад 1810 года, слишком хорошо она знала, что может произойти, если ей, матери, и удастся волей да властью родительской остановить эту непреклонность, это нетерпение страсти.

О том, что вырванное с помощью почти шантажа родительское благословение – не мир, а всего лишь перемирие, ни Мария Михайловна, ни ее супруг старались не думать. Да и у Елизаветы Алексеевны появились другие заботы: в опасности было не только отечество, но и жизнь любимых братьев – уцелеют ли в грозе Двенадцатого года? А тут еще и беременность Маши...

И сестры, и зятя успокаивали: Бог даст, обойдется. Елизавета Алексеевна на словах соглашалась, а сама свое думала: вам, может, и дает, а у меня что-то все отнимает.

«Как во власти Божией лишилась я смертию мужа моего...»

Нет у надежды у нее ни на Бога, ни на пензенских повитух. Ни Бог, ни бабка не помогут, ежели употребление инструментов да «искусственное действие рук» потребуется. Ученая акушерка нужна, а где ее в Пензе взять?

Думала долго, решила скоро: в Москву. Вот обмолотим хлеба, управимся и соберем поезд. Лучше, конечно бы, загодя, по теплу верному, по твердой августовской дороге тронуться, да в страду каждая лошадь на счету.

И тронулись. И поехали. Со скарбом и снедью. Жизнь в Москве дорогая, а по нынешним трудным временам и совсем разорительная. Какая-никакая, а экономия – на своих-то припасах.

Москва встретила пензенских пилигримов невесело – ранним ненастьем и разором: дома каменные – обгорелые, без крыш и окон, от деревянных – печи да трубы. Хорошо еще, у новых, по Дмитрию, московских родственников, Верещагиных, весь город в знакомцах. Как приехали, так и устроились, не мыкались, как другие.

Без инструментов обошлось.

Акушерку сыскали ловкую да языкатую; руки дело делали, а язык невесть что плел: не умрет, мол, младенец сей смертью своей.

Несмотря на предсказание, младенца нарекли Михаилом. В честь деда покойного. Не своею смертью умершего. Суевров среди Столыпиных не было.

Выезд этот – из губернской Пензы, из имения обжитого, устроенного, от собственного домашнего врача – был до того не в обычае, что его не смог предположить даже весьма осведомленный свидетель детства поэта – его троюродный брат Аким Шан-Гирей. Так уверен был, что Михаил Юрьевич в Тарханах родился, что, издавая мемуары, не счел нужным проверить сей факт.

Сам же Лермонтов не только помнил, что появился на свет в сожженной пожаром древней столице, но и видел в этом особую волю Провидения:

«Москва моя родина и всегда ею останется».

* * *

Боялась Елизавета Алексеевна московской зимы. Зря боялась. Перезимовали благополучно, а по весне с семейством Верещагиных переместились в их Подмосковную, на свежий воздух и молоко парное. Маша слаба, у внука лекарь золотуху признал. Велел лист черносмородиновый заваривать, а не поможет ежели – череду. Не привыкла Елизавета Алексеевна в приживалках жить: родство хоть и имеется, да уж очень отдаленное. Маше-то все едино, ей и в шалаше рай, лишь бы друг ненаглядный рядом был. Зато зять как рыба в воде, будто не в кропотовской развалюхе – на паркетах наборных ходить учился. В важные люди норохтится. Мужских серьезных разговоров не выносит, при Дмитрие рта не открывает, зато с девицами любезен, дамский угодник! К Маше Хастатовой, институтке-смолянке, и к той подход нашел: стишки да альбомы, романсы да жмурки. Но и к жене внимателен: женихуются. А той много ли надо? Светом его светится. Надолго ли ведро? О сыне даже забыла. Елизавета Алексеевна для вида сердится, выговаривает дочери, а сама радешенька: из детской не выходит, за кормилицей в три глаза глядит, няньку гоняет – бабка, не мать крестная – владелица: мне сие принадлежит и впредь принадлежать будет.

Хорошо у Верещагиных – после стольких тревог отдохновение. И братья тут – и Дмитрий, и Афанасий – в войне уцелевшие, и племянница – по сестре Кате – любимая.

Первым Дмитрий уехал, в полк вернулся. Потом и Машу Хастатову на Кавказ проводили – Афанасий повез. На Кавказе, неподалеку от «рая» хастатовского, за батюшкой Алексеем Емельяновичем четыре тысячи десятин закреплено. Беспокойным владение оказалось. Несмотря на грамоту императорскую и начальства местного окрики, мужики окрестных поселений распахивали господскую землю. Кавказское хозяйство по завещанию к Николаю отходило, но Афанасий по-родственному, не из собственной – семейственной выгоды на себя хлопоты взял: сам в дикое имение отправился порядок наводить. К тому же и сестрица Екатерина по боевым заслугам мужа покойного разрешение на устройство домика в Горячеводске исхлопотала, и ей помочь надо. Батюшка Алексей Емельянович весь в ревматизмах, врачи воды прописали, а удобств никаких: палатки походные, кибитки войлочные, балаганы из тростника. Надо свое заводить, нехитрое, но свое, пока другие не догадались. (Судя по тому, что в списках лиц, посетивших Горячие Воды в следующем, 1816 году, значится имя Алексея Емельяновича Столыпина, Афанасий Алексеевич и эту комиссию успешно выполнил.)

Мария Михайловна, расставаясь с кузиной кавказской, «другом по уму и дарованиям», «сестрой по душе и чувствам», плакала. Прослезилась, уезжая, и Маша Хастатова. И матушка ее, и брат с сестрой «кавказцами» заделались, прижились в диком краю, а ей, институтке-смолянке, не по душе красоты тамошние. В Россию тянет, к василькам да ромаш-

кам, к прудам с кувшинками да к речкам спокойным. Весь альбом, из Петербурга привезенный, слезами закапала. Полистала альбом девический Елизавета Алексеевна, руку Дмитрия узнала. Дмитрий верен себе: умения «владеть собой» Катиной дочке желает. А вот и ее Маши почерк – бисер французский:

Cette qui t'aime d'avantage
Pourra mettre son nom a la suivante page...⁷

Верно братец заметил: не досталось нашим с тобой дочерям, Катя, столыпинского самообладания – что на сердце, то и на лице. Ничего, жизнь научит. Другое меня печалит: и твоей, и моей Маше здоровья Бог не послал, вот откуда беды ждать надобно...

«Милой Машыньке. Чего желать тебе, друг мой? Здоровье – вот единственная вещь, которая недостает для счастья друзей твоих. Прощай и уверена будь в истинной любви Елизаветы Арсеньевой».

Проводив племянницу и братьев, Елизавета Алексеевна стала томиться: в гостях хорошо, а дома лучше.

Дома оказалось – хуже. Год кой-как скоротали, а к лету невоготу сделалось – ни доброго, ни худого мира.

21 августа 1815 года вдова гвардии поручица Елизавета Алексеева, дочь Столыпина, вынуждена была выдать отставному капитану Юрию Петровичу Лермонтову заемное письмо на 25 тысяч ассигнациями. Заем был, разумеется, фиктивным: у Лермонтова-отца не было и не могло быть таких крупных денег. Под заем, пользуясь разрешающей способностью закона, вдова Арсеньева оформила юридические права зятя на приданое жены, из которого к тому же вычла взятые на себя судебные издержки.

В драме «Люди и страсти» Лермонтов ненароком обмолвился, что имение, то есть приданое за женой, было получено отцом Юрия Волина под честное слово.

Вряд ли легкомысленный этот поступок был продиктован излишком доверчивости. Скорее всего у Юрия Петровича, как и у героя лермонтовской драмы, просто-напросто не оказалось наличных денег, чтобы оплатить крепостную бумагу. (За юридическое оформление прав на приданое полагался налог в размере одной десятой его стоимости.) Лермонтов точно указывает сумму, которую «не захотел» заплатить батюшка Юрия Волина, – три тысячи; она соответствует той, какую Юрий Лермонтов должен был выложить, если бы Елизавета Алексеевна настояла на официальном оформлении имущественной стороны брачного акта: за Марией Михайловной было обещано 30 тысяч ассигнациями – доля ее отца по разделу с братьями.

Цифра эта, кстати, выводит из «тьмы неизвестности» на «свет истины» и еще одну, вроде бы маловажную, но для участников тарханской драмы очень даже чувствительную подробность. Согласившись на брак дочери с неугодным и неприятным ей человеком, Елизавета Алексеевна неудовольствие свое выразила по-столыпински наглядно: ни копейки сверх того, что полагалось Марии Михайловне по закону от отца покойного, от себя не прибавила. Точно так же поступили и все остальные ее родственники по столыпинской линии: подвергли новобрачных экономическому бойкоту. Но даже этой законной суммы Мария Михайловна, в отличие от своей матери, которой приданое было вручено звонкой монетой, не получила. Деньги были и в то же время их как бы и не было. Ни одной траты, ни одной поездки молодожены не могли позволить себе без спроса и позволения матери: то ли баловни, живущие на всем готовом, то ли арестанты – «рабы судьбы».

⁷ Кто любит меня более, пусть поставит свое имя на следующей странице (фр.).

Как переживала Мария Михайловна материнскую опеку, мы не знаем, но Юрия Петровича положение «крепостного зятя» тяготило. Природная доброта не в силах была справиться с природной же раздражительностью. Начались разлады. Сначала с тещей, а потом и с женой.

Шила в мешке не утаишь. О том, что молодые не ладят, раньше всех узнала домашняя служба информации, то бишь прислуга. На уровне своего понимания все и объяснила автору «Колыбели замечательных людей» П.Шугаеву:

«Юрий Петрович охладел к жене по той же причине, как и его тесть к теще (то есть из-за хвори, привязавшейся к М.М.Лермонтовой после родов. – А.М.), вследствие этого Юрий Петрович завел интимные отношения с бонной своего сына, молоденькой немкой Сесильей Федоровной, и кроме того, с дворовыми... Отношения Юрия Петровича к Сесилье Федоровне не могли ускользнуть от зоркого ока любящей жены, и даже был случай, что Марья Михайловна застала Юрия Петровича в объятьях с Сесильей, что возбудило в Марье Михайловне страшную, но скрытую ревность, а тещу привело в негодование. Буря разразилась после поездки Юрия Петровича с Марьей Михайловной в гости к соседям Головинным, в село Кошкарево... в 5 верстах от Тархан; едучи в карете оттуда обратно в Тарханы, Марья Михайловна стала упрекать мужа своего в измене; тогда пылкий и раздражительный Юрий Петрович был выведен из себя этими упреками и ударил Марью Михайловну весьма сильно кулаком по лицу, что и послужило впоследствии поводом к тому невыносимому положению, какое установилось в семье Лермонтовых».

И флирт, и даже связь с молоденькой гувернанткой, равно как и шашни с дворовыми девками, вполне могли иметь место, хотя бы потому, что были в обычае. Но именно по этой причине ничего и не объясняют. Юрий Петрович в завещании назвал Елизавету Алексеевну «матерью обожаемой им женщины», и у нас нет оснований видеть в предсмертном признании лишь попытку обелить себя в глазах сына, во всяком случае, нет оснований верить ему меньше, чем всезнающей молве. Вот ведь и Мария Михайловна, умирая, просила мать не ссориться с зятем, уверяя, что Юрий Петрович ее истинно любит. Будь это совершеннейшей неправдой, вряд ли Елизавета Алексеевна позволила бы ему увезти из Тархан в Кропотово портрет дочери. Допустим – назло или тайком увез, хотя последнее маловероятно; зачем тогда хранил как реликвию?

И портрет, и листки из семейного альбома – стихотворную их переписку, своего рода дневник в диалогах, относящийся, кстати, к той самой поре, когда, по утверждению молвы, семейная жизнь в Тарханах сделалась невыносимой.

Но, может быть, невыносимой она была именно в Тарханах? А как только молодым удавалось вырваться из-под контроля Елизаветы Алексеевны, вырваться и укатить в то же Кропотово, их отношения улаживались? На такое предположение наводит рисунок в кропотовском альбоме: два дерева, разделенные ручьем, а ниже – рукой Марии Михайловны:

Склонности объединяют нас,
Судьба разделяет.

Ответ Юрия Петровича в альбомном дневнике более оптимистичен, чем скорбная сентенция жены: «Ручей два дерева разъединяет, ветви их, сплетаясь, растут».

Не связан ли этот оптимизм с заемным письмом на 25 тысяч ассигнациями, которое Юрий Петрович наконец выщарапал у тещи в августе 1815 года? Ведь если бы ему удалось заполучить, как когда-то Михайле Арсеньеву, полагающееся за женой – не на бумаге, а наличными, – он мог бы с грехом пополам, но все-таки устроить свою семейную жизнь по собственному разумению.

Впрочем, вряд ли деньги могли что-либо в корне переменить. И если уж «искать женщину», пытаясь отгадать причину тарханской драмы, то, конечно, не в смазливой Сесилье, не в народной красоте тарханских девок и даже не в самовластии Елизаветы Алексеевны. И измена, и неурядицы с тещей – следствие, а не причина, ибо драма была завязана задолго до того, как «любезному дитяти» Марии Михайловны и Юрия Петровича Лермонтовых потребовалась бонна. Женщиной, разрушившей семейное счастье супругов Лермонтовых, была сама Мария Михайловна Лермонтова.

Я не могу любовь определить,
Но это страсть сильнейшая! – любить
Необходимость мне; и я любил
Всем напряжением душевных сил.

Способность эта – то ли дар Божий, то ли проклятье – досталась Лермонтову от матери в придачу к чрезвычайной нервности. Ответить на такое чувство Юрий Петрович, естественно, не мог. Для него любовь была развлечением, приятным времяпрепровождением, но никак не всепоглощающей страстью. Он наивно полагал, что любит жену, а та страдала, встречая со стороны мужа лишь рассеянную, легко раздражающуюся нежность. На большее этот неосновательный, впечатлительный, но неглубокий человек просто-напросто не был способен. И чем явственней страдала так и не научившаяся «властвовать собой» дочь Михаила Арсеньева, тем чаще раздражался, не понимая, чего от него хотят, Юрий Петрович. А тут еще теща с неусыпным надзором... А тут еще братцы тещины, говоруны да умники, о пользе отечества не в меру пекущиеся... Прибавьте ко всему этому полное и хроническое безделье: сын слишком мал, чтобы нуждаться в мужских, отцовских заботах; хозяйство в руках Елизаветы Алексеевны; даже выезды в гости и те затруднительны – по вечному нездоровью Марии Михайловны. Ни дела, ни привычки к кабинетным занятиям – да и откуда взяться такой привычке у воспитанника кадетского корпуса?

Все – начиная с молчаливых требований жены и кончая ключницей, пробегавшей мимо с таким видом, будто он чучело огородное, в костюме с чужого плеча наряженное, – больно задевало и без того уязвленное и униженное самолюбие. Вот и брал реванш там, где его можно взять: с глупенькой Сесильей в амуры играл, девкам тещиныным проходу не давал – самоутверждался.

Заемное письмо, как свидетельствуют книги чембарского уездного суда, было выдано сроком на один год. Прошел год. Елизавета Алексеевна помалкивала. И вдруг сделала ход конем: в конце лета 1816 года, то есть как раз в тот момент, когда надо было платить по выданной зятю бумаге, объявила доход со своего имения в 500 рублей, тогда как соседний помещик с такого же надела и в тех же климатических обстоятельствах выручил 5 тысяч. Жест был достаточно красноречивым: ни Мария Михайловна, ни Юрий Петрович, по деликатности, не могли ни настаивать на выплате, ни заметить матери и теще, что та пошла на прямой обман. В крайнем раздражении, после очередной семейной сцены (не умея разговаривать с Елизаветой Алексеевной, теряясь перед ее логикой и досадуя на себя за бесхарактерность, Юрий Петрович отводил душу на кроткой жене), Лермонтов укатил в Кропотово. Уехала, не в силах видеть страданий дочери, и Елизавета Алексеевна – в Пензу, к родственникам. Но скоро вернулась. Посланный за сведениями в Тарханы нарочный привез недобрую весть: молодая барыня неделю как с постели не встает.

23 января 1817 года Михаил Михайлович Сперанский написал Аркадию Алексеевичу Столыпину: «Есть новость для вас печальная, племянница ваша Лермонтова... весьма опасно больна сухоткою, или чахоткою... Мало надежды, а муж в отсутствии».

Чахотка, вероятно, оказалась скоротечной. Менее чем через месяц тот же Сперанский сообщил Аркадию Столыпину, что дочь Елизаветы Алексеевны «без надежды».

24 февраля 1817 года Мария Михайловна скончалась. Лермонтову не было и трех лет, но день похорон матери он запомнил, описав в поэме «Сашка». Работать над этой поэмой Михаил Юрьевич начал в Тарханах в январе 1836 года. Стояла такая же жестокая зима, как и девятнадцать лет тому назад, в феврале 1817-го:

Он был дитя, когда в тесовый гроб
Его родную с пеньем уложили.
Он помнил, что над нею черный поп
Читал большую книгу, что кадили,
И прочее... и что, закрыв весь лоб
Большим платком, отец стоял в молчанье...

Надпись на надгробной плите матери поэта в семейной усыпальнице в селе Тарханы гласит: «Под камнем сим лежит тело Марии Михайловны Лермонтовой, урожденной Арсеньевой... Житие ее было 21 год, 11 месяцев и 7 дней».

После кончины жены 5 марта, выждав положенные по обычаю девять дней и не дождавшись сороковин, Юрий Лермонтов уехал из Тархан. Взять с собой Мишеньку теща не позволила. Срок оплаты заемного письма продлила еще на год.

Но Юрий Петрович не хотел отказываться от сына, а Елизавета Алексеевна не желала расставаться с внуком. В результате этой распри и появилось духовное завещание Арсеньевой. Как и все поступки этой женщины, оно было более чем решительным:

«Ныне сим... предоставляю по смерти моей... родному внуку моему Михайле... принадлежащее мне... с тем однако, ежели оной внук мой будет по жизнь мою до времени совершеннолетия его возраста находиться при мне на моем воспитании и попечении без всякого на то препятствия отца его, а моего зятя... если же отец внука моего истребовает, чем, не скрываю чувств моих, нанесет мне величайшее оскорбление, то я, Арсеньева, все ныне завещаемое мной движимое и недвижимое имение предоставляю по смерти моей уже не ему, внуку моему... но в род мой...»

На угрозу отнять внука Елизавета Алексеевна ответила оскорблением. Юрий Петрович не мог дать сыну того положения в обществе, какое гарантировало попечение Арсеньевой. Униженный и оскорбленный, он отступился. Но Елизавете Алексеевне было мало скрытого от посторонних глаз унижения. Сделав вид, что не в состоянии погасить мнимый долг, она растянула мучительное для Юрия Петровича положение – то ли просителя, то ли вымогателя – еще на полтора года. Деньги он получил лишь в мае 1819-го. Об условиях духовного завещания и заемном письме знали лишь самые близкие. Молва расценила получение столь крупной суммы как взятку: отец-де продал теще за 25 тысяч рублей ассигнациями права на сына.

Впрочем, в рассуждении нравственности молва почти справедлива. По закону Юрий Петрович был прав, но по совести в денежных препирательствах над свежей могилой, в самом стремлении получить приданое умершей жены было что-то не совсем пристойное. Тем более что в 1819 году вдовец Лермонтов уже знал: сына ему, не рискуя его будущностью, от бабки не отторгнуть ни сейчас, ни по достижении шестнадцатилетия. Завещание тещи и то, что он, отец, спасовал перед экономическим ультиматумом, лишало его морального права на арсеньевские деньги. Хотя – кто знает? Судя по действиям, какие Юрий Петрович предпринял в 1830-м (частые свидания с сыном, попытка установить с ним духовный контакт и т. д.), он вполне мог где-то там, в глубине души, рассчитывать и на иной разворот событий. Думается, не случайно старая распря, почти затихшая после того, как Юрий Пет-

рович привез в Тарханы на воспитание племянника Мишу Погожина-Отрашкевича, дабы и его Миша не рос в одиночестве горького сиротства, возобновилась в год совершеннолетия Михаила Юрьевича...

Но это все в будущем. А пока вдова-поручица Арсеньева пытается оградить себя и крошечного внука от не совместимых с жизнью воспоминаний.

Дом, где Елизавета Арсеньева и внук ее Михайла смертью лишились мужа и деда, а семь лет спустя – дочери и матери, был продан на снос. Не просто снесен, а именно продан, и притом – в соседнее село, где был восстановлен по точному строительному плану, к покупке присовокупленному (жест трагической героини, Андромахи русской, а где-то там, глубже, совсем мужицкое: не бросать же щипки, ведь они посоленные). На месте снесенного дома, в десяти саженьях от проклятого места, Арсеньева заложила церковь: маленькую, но каменную – Марии Египетской. До той поры в Тарханах была лишь еще при Нарышкиных строенная деревянная церквушка – теперь здесь находится фамильный склеп Арсеньевых.

Два памятника из светло-серого гранита, почти одинаковые, рядом – над гробом мужа и дочери. Внука же от этих любимых, но предавших Елизавета Алексеевна, по смерти его, отделит и пристрастием своим отметит:

«Несколько впереди этих двух памятников (Михаилу Арсеньеву и Марии Лермонтовой. – А.М.), то есть ближе к двери, в часовне стоит из прекрасного, черного, как уголь, мрамора, и гораздо большего размера, памятник в виде четырехсторонней колонны над гробом Михаила Юрьевича, с одной стороны которого бронзовый небольшой лавровый венок и следующая надпись: “Михаил Юрьевич Лермонтов”, с другой: “Родился 1814 г. 3-го октября”, с третьей: “Скончался 1841 июля 15”». Дорогие могилы Елизавета Алексеевна обнесла оградой. Себя же распорядилась похоронить вне часовни. К стене склепа прибита лишь небольшая доска белого мрамора; ни даты рождения, ни точного возраста усопшей люди, хоронившие Арсеньеву, видимо, не знали. Возраст определен на глазок: восемьдесят пять вместо действительных семидесяти двух. А вот дата смерти указана верно: 16 ноября 1845 года.

Нет, эта женщина была не из тех, кто не обладает даром долгой и справедливой памяти. Но жить в доме, наполненном столькими воспоминаниями, она не могла.

Заложив церковь и приведя в порядок склеп, Арсеньева, перезимовав в Пензе, принялась по весне за строительство нового дома: начиналась ее вторая жизнь, и начинать ее следовало на новом месте.

Взамен теплиц, разрушенных при сносе старого дома, были немедленно сооружены новые. И сад новый заложен, и пруды выкопаны.

Новая – с иголочки – жизнь.

Не отсюда ли, из детства, прожитого в доме, выстроенном специально для него, наследника, без предыстории, без тайников и закоулков, без старых запахов и старинных вещей, привязанность Лермонтова к домам с прошлым, со следами прошедшего?

Но близ Невы один старинный дом
Казался полн священной тишиною;
Все важностью наследственной в нем
И роскошью дышало вековою...

Сказка для детей

* * *

Давно когда-то, за Москвой-рекой,

На Пятницкой, у самого канала...
Был дом угольный...

Последние три строки – начало безымянной поэмы (в некоторых изданиях печатается как вторая глава «Сашки»).

Покуда дочь была жива, ни о ком и ни о чем, кроме ее нездоровья, Елизавета Алексеевна ни думать, ни чувствовать не могла. Даже внук попадал в круг ее забот лишь в те краткие промежутки, когда она начинала надеяться. Не на чудо, нет – на отсрочку самого страшного. Мальчишка, брошенный, весь в золотушных струпьях, был так слаб, что даже не плакал, а тихонько-тихонько, по-щенячьи, прижавшись к отцу, не спускавшему сына с рук, поскуливал. Ополонувшая от неутешного горя, Арсеньева даже не заметила, что зять, не дождавшись сороковин и не поставив ее в известность, исчез. Как потом выяснилось, договорился с обозными мужиками, дабы подкинули до почтового тракта, и ничего, кроме Машиного альбомчика да портретов, своего и жениного, парных, не взял. И сына – угрозы не исполнив – не увез. Но пока мальчишку искали, пока не нашли в людской спящего, Елизавета Алексеевна чуть умом не тронулась. Раздевая, плакала: рубашонку сколько дней не меняли, прилипла к струпьям. Ну, нет – этого она судьбе-злодейке не отдаст.

Глава четвертая

Приказав продать несчастливый дом и утвердив с братом Афанасием Алексеевичем план новой постройки, ему же и хлопоты, и надзор поручив, госпожа Арсеньева занялась подготовкой целительного – на Кавказские Воды – путешествия. Двигались караваном: брат, племянники, племянницы...

Поездка оказалась неудачной. Водяной доктор, давний знакомец Екатерины Алексеевны Хастатовой, никакого лечения, кроме горячего серного обтирания, внуку не назначил. Привозите, мол, года через два, не раньше. И обязательно в мае. Елизавета Алексеевна уже и сама поняла: поторопилась. Мишенька плохо переносил жару. Слава богу, у Кати и впрямь «земной рай». В Шелковой и переждали жару и с первой же подходящей оказией двинулись восвояси.

Вернуться вернулись, а жить негде. Постройка в Тарханах не завершена; Афанасий Алексеевич плотников не торопил, не ожидал, что Лиза так скоро обернется.

Пришлось коротать зиму в Пензе, в родительском гнезде; теперь там, по смерти батюшки, хозяйничала Наталья. В прежние годы Елизавета Алексеевна с младшей сестрой накоротке не была, а теперь подружилась. Наташа мужских хозяйских забот на себя не брала, за мужем как за каменной стеной, зато по женской части расторопна – и дети веселы и здоровы, и мебель модная, и платья-шляпки из Москвы из французского магазина выписывает. Старшие сестры – и Александра, и Катерина – в Москве что чучелы огородные, а Наталья и в Петербурге своя. Все – на Кавказ, а Наташа – в Петербург: Алешке, ее старшему, тринадцать исполнилось, пора в гвардию пристраивать, пока Мордвинов-старик жив да здоров и Аркадий в силе.

Наташе Елизавета Алексеевна и рассказала про то, в чем Кате, от которой прежде ничего не скрывала, не решилась признаться: Миша, мол, от меня ни на шаг не отходит, а на руки не идет. Силком возьмешь – вырывается, голову сломала, пока поняла: от меня все еще бедой пахнет. И няньку свою, тарханскую, не любит, плюется, капризничает, платок срывает, за волосы дергает. Да и она им, хворым, брезгает. Лебезит, а брезгает. Подумай, Наташа.

Думать думала, да ничего не придумала Наталья Алексеевна. Не придумала, а нашла – через забор высмотрела. Не в Пензе – в Москве. В Москву поздним летом 1820-го они вместе наведались, вместе, втроем, и остановились у Мещериновых, прямых родственников Елизаветы Алексеевны (отец семейства – дядька родной, брат матери). И вот идет Наталья Алексеевна как-то по Сретенке, с Кузнецкого возвращаясь, а из пансиона немецкого мальчишки горохом высыпали, а с ними – фрейлейн, сильно немолодая, но старой не смотрится, чистенькая, накрахмаленная. То ли нянюшка, то ли бонна.

Знакомиться к немцам отправились втроем, разговор-уговор вела тетушка: фрейлейн Румер, из пансиона, кроме как в театр немецкий да в немецкий же магазин по крайней женской надобности, не отлучавшаяся, по-русски понимала плохо. Тетушка же и уговорила. Впрочем, уговаривать долго не пришлось. Хозяин давно намекал, что хотел бы видеть на месте Христины молоденькую племянницу.

Мишель поначалу новую мамушку вроде и не замечал, а та и не настаивала; он играет, она возле лампы, белой мышкой в креслице, петли считает. Айн, цвай, драй... Подошел, вязанье выдернул и сам на колени забрался...

Ни елки, ни детских рождественских праздников Елизавета Алексеевна для внука уже не устраивала. Но Христина в чистенькой своей светелке все-таки ставила малое деревце. А под деревцем для него, Мишеля, в золоченой бумаге затейливый фигурный пряник. Каждый год разный: то зверь дивный, единорог, то птица о двух головах. Сладкое из-за золотухи ему давали редко, с разбором, предписание доктора Елизавета Алексеевна исполняла

неукоснительно, но на мамушкин пряник запрет не распространялся. Вместе с пряником Христина усаживала мальчика на подоконник; снегу за ночь навалило много, мягкого, с метелью, законный сугроб доставал до нижних наличников. Мишель осторожно откусывал от пахнущего корицей лакомства, а сам слушал. Пришедшая за немецким гостинцем Дарья-ключница рассказывала:

– Мужики на пруду в кулачную веселились. Ваську, садовника, чуть не забили. Кровью харкает. И поделом козлу. Всех девок перепортил! В кухню приволокли – отлеживается. И жидок наш тут же, с примочками. И барыня охает. Как в Пензу на Святки, так чтобы Васька Калашников вез! Возок непригляден, лошаденки неважные, зато возница – хорош!

– Бабушка, а что такое жидок?

– Забудь это слово, Мишенька.

Зиму осилили, а по весне прежняя хворь на внука накинута. Дел не впрок, да и стройка сбережения съела; не для себя старалась, для Миши, на спичках не экономила. К тому же брат Александр Алексеевич все расходы дорожные на себя взял, а там, у Кати, как-нибудь разместимся: лето не зима, в тесноте, да не в обиде.

На этот раз, в 1820 году, упование Елизаветы Алексеевны на всемогущество горячих вод оказалось верным. К концу водяного сезона сестры, глядя на Мишеля, уже не прятали от нее соболезнующих скорбных глаз. Серные ванны вылечили-таки «заморыша» от мучительной золотухи. Сперанский, навестив Тарханы весной 1821 года, записал в дневнике: «Посещение Елизаветы Алексеевны. Действие кавказских вод. Совершенное исцеление».

На радостях Елизавета Алексеевна раскошенилась. Разыскала в Пензе «настоящего», академию осилившего художника и заказала два портрета, Мишин и свой. Для своей парсуны с помощью Натальи парадный туалет сообразила. Надевала его, правда, только раз в году, когда созывала гостей в день рождения внука. Разъезжались гости, и хозяйка Тархан праздничный наряд скидывала – убери, Дарья, да так, чтобы ни шелку, ни кружеву ущерба не было. И кольца, и серьги старинные, батюшкой к помолвке подаренные, снимала, в шкатулку прятала. Для будущей снохи, дескать. А Миша пусть на портрет смотрит, на портрете-то бабка никогда не состарится. На радостях же и француза к Мише взяла.

Наполеоновский гвардеец, тяжело раненный при отступлении под Смоленском и спасенный от верной смерти сердобольным русским семейством, Жан Капэ по заключении мира не вернулся во Францию, где не осталось у бедолаги ни родных, ни имущества. Когда Елизавета Алексеевна решила взять его в дом, дабы учил внука французскому, пензенские сестрицы пришли в ужас. Но Сперанский, побеседовав с мсье, выбор вдовы Арсеньевой одобрил: природный парижанин, мсье изысканен на таком живом и сочном французском, на каком в дни его юности говорила революционная Франция. Дорогие учителя, из высокородных эмигрантов, этого языка не знают. Что до французской изящной словесности, то мальчик, повзрослев, литературный язык легко освоит, с его-то памятью и прилежанием. А пока пусть они, старый да малый, разговаривают.

И они разговаривали. Ни с кем, кроме Мишеля, Капэ не мог говорить о главном в своей жизни: о военных походах, солдатском братстве и, конечно же, об императоре. Капэ же преподавал своему питомцу и искусство верховой езды. Кавалерист, он знал это дело до последней тонкости и лошадей понимал лучше, нежели людей, среди которых доживал утратившую смысл жизнь. Хорошенькую «башкирку», которую для внука приготовила бабка, он сразу же забраковал: и смирна, и послушна, но жеребенка к молоку не подпустила. Так лягнула, что оля-ля! Высмотрел другую. Каурая лошадка на первенца своего неказистого словно налюбоваться не могла! Но прежде чем посадить мальчика в седло, Капэ чуть не месяц, взгромоздив Мишеньку на плечи, выводил и кобылку, и жеребеночка на лужок; там они вчетвером друг к дружке привыкали, приглядывались. А когда наконец решился посадить мальчонку в седло,

вызвал бабу. На ее глазах и осилили первый урок. И оба удивились: лошадка ступала так плавно и мерно, словно понимала, как дорог хозяйке доверенный ей крошечный всадник...

Капэ же дал своему питомцу и первые уроки фехтования. Правда, рапиры мсье сделал из ореховых молодых побегов ореха, а корзиночки сплел из гибких ивовых прутьев Васька Калашников.

Вместе с Капэ, всегдашним своим спутником, Мишель совершит и свое первое путешествие к таинственному Чертову логовищу; там, по рассказам тарханских стариков, в пугачевщину прятались от мятежников окрестные господа. В дождливые годы пути к пещерам не было, но знойный август 1927-го высушил опасные топи. Елизавета Алексеевна забеспокоилась, но внук пришел в такое отчаяние, что она сдалась. Правда, с одним непременным условием: пусть сначала Василий к черту на рога сбегает, проверит дорогу.

И путь этот, и пещеры Лермонтов опишет в своем первом, историческом, романе «Вадим». Речь о нем впереди, пока же просто проделаем путешествие к пещерам, чтобы оценить поразительное мастерство, с каким пять лет спустя оно будет описано.

«Чтобы кратчайшим путем достигнуть этой уединенной пещеры, должно было переплыть реку и версты две идти болотистой долиной, усеянной кочками, ветловыми кустами и покрытой высоким камышом; только некоторые из окрестных жителей умели по разным приметам пробираться через это опасное место, где коварная зелень мхов обманывает неопытного путника и высокий тростник скрывает ямы и тину; болото оканчивается холмом, через который прежде вела тропинка и, спустясь с него, поворачивала по кособоку в густой и мрачный лес; на опушке столетние липы, как стражи, казалось, простирали огромные ветви, чтоб заслонить дорогу; казалось, на узорах их сморщенной коры был написан адскими буквами этот известный стих Данта: *Оставьте всякую надежду, вы, входящие*. Тут тропинка постепенно ползла на отлогую длинную гору, извиваясь между деревьев как змея, исчезая по временам под сухими хрупкими листьями и хворостом; наконец лес начинал редеть, сквозь забор темных деревьев начинало проглядывать голубое небо и вдруг открывалась круглая луговина, обведенная лесом как волшебным кругом, блистающая светлою зеленью и пестрыми высокими цветами, как островок среди угрюмого моря, — на ней во время осени всегда являлся высокий стог сена, воздвигнутый трудолюбием какого-нибудь бедного мужика; грозно-молчаливо смотрели на нее друг из-за друга ели и березы, будто завидуя ее свежести, будто намереваясь толпой подвинуться вперед и злобно растоптать ее бархатную мураву. От сей луговины еще три версты до Чертова логовища, но тропинки уже нет нигде... и должно идти все на восток, стараясь как можно менее отклоняться от его направления. Лес не так высок, но колючие кусты, хмель и другие растения переплетают неразрывною сеткою корни деревьев, коих гнилые колоды, обросшие зеленью и плющом, с своими обнаженными сучьями, как крепостные рогатки, преграждают путь... Пройдя таким образом немногим более двух верст, слышится что-то похожее на шум падающих вод, хотя человек, не привыкший к степной жизни, воспитанный на бульварах, не различил бы этот дальний ропот от говора листьев; тогда, кинув глаза в ту сторону, откуда ветер принес сии новые звуки, можно заметить крутой и глубокий овраг, его берег обсажен наклонившимися березами, коих белые нагие корни, обмытые дождями весенними, висят над бездной длинными хвостами; глинистый скат оврага покрыт камнями и обвалившимися глыбами земли, увлекшими за собою различные кусты, которые беспечно принялись на новой почве, на дне оврага, если подойти к самому краю и наклониться, придерживаясь за надежные деревья, можно различить небольшой родник...»

Выписка из «Вадима», понимаю, чересчур длинна и на современный вкус, может быть, слишком подробна, но прочтите процитированный фрагмент вслух! И, думаю, как и я, непре-

менно вспомните слова Чехова о лермонтовской «Тамани»: «Не могу понять, как мог он, будучи мальчиком, сделать это...»⁸

Забегав вперед, мы опередили отпущенное нашему герою земное время на целых шесть лет – долгих, все еще тарханских, деревенских...

На Святки – ряженые, на Пасху – яйца крашеные. Катали яйца в парадной зале. Мишель по обыкновению проигрывал... На Семик и Троицу – игрища в лесу: и господа, и дворовые – все вместе. Поварам забота: этакую ораву накормить-напоить! Зимой на прудах – кулачные бои: стенка на стенку, дворовые против деревенских. Бывали и у них, детей, снежные баталии: с обледелыми ядрами и снежными крепостями. Ну и конечно – салазки. Снежную гору, как и крепости, устраивали, сгребая снег и обливая водой насыпной холм; такой высоты, чтоб душа замирала, в равнинных Тарханах не было.

Из снега выделявали не только крепости. «Мишель, – вспоминает Аким Шан-Гирей, – был мастер делать из талого снегу человеческие фигуры в колоссальном виде». Снег («летучий, серебристый и для страны порочной слишком чистый»), по всей вероятности, был первым материалом, преодолев сопротивление которого Лермонтов обнаружил в себе художника.

Заметила это и бабушка. В классной новенькой комнате появились акварельные краски и цветные воски. Специального учителя, разумеется, не взяли, но, видимо, без советов «придворного крепостного мастера живописных дел» не обошлось, и очень скоро Мишель и акварелью рисовал довольно порядочно, и лепил из крашеного воску целые картины.⁹

По старой тарханской традиции, еще Михаилом Арсеньевым заведенной, устраивались в Тарханах и домашние спектакли. Только теперь заводилами – и режиссерами, и актерами – стали сами дети; взрослых изгнали в «партер».

В дни премьер Елизавета Алексеевна, вспоминая свое детство и бабушкин театр, оживала и молодела, хотя и не изменяла заведенной со дня смерти Марии Михайловны «форме одежды»: черное платье да белый, без лент, чепчик. И к детям была добра и ласкова, и не только не сердилась, когда они слишком уж веселились, а наоборот – радовалась и их веселости, и собственной своей победе над безутешным горем. Добилась-таки своего – открыла дом свой жизни, молодой, беспечной, здоровой. Себе во всем отказывала – готова была и без чаю обойтись, на будущее экономила, а для детей ничего не жалела: лучше в тесноте, чем в пустоте. Со всей округи сверстников внука собрала: сосед из Пачелмы – Коля Давыдов, два брата Юрьевых, двое маленьких князей Максютых (все дальние родственники) да зятев племянник Погожин-Отрашкевич. Этого издалека привезли, из-под Тулы. Маша перед смертью просила: нету родного брата – пусть с двоюродным Мишей вместе растут. Наезжали и пензенские Столыпины со своими выводками. Дом битком набит – шум, хохот, возня, шалости... Тарханские дворовые девки, состарясь, охотно рассказывали любопыт-

⁸ Известно, что сюжетная ткань «Вадима» соткана из рассказов бабушки автора об ужасах пугачевщины. Правда, о «несчастном происшествии» Елизавета Алексеевна повествует с чужих слов. В 1774-м ей не было и года, но так как, по отзывам современников, была она талантливейшей рассказчицей, то нет ничего удивительного в том, что на Мишеля ее рассказы произвели сильное, *долгосрочное* впечатление. Удивительно другое, а именно то, что двенадцатилетний мальчик, почти ничего в ту пору не читавший, угадав их историческую значительность, немедленно стал исследовать окрестности Тархан, как ближние, так и дальние, словно предчувствуя, что найденные им материальные следы ужасного происшествия в скором времени пригодятся ему. И ведь действительно пригодились. Сохраненные в памяти зарисовки с натуры переведены в текст романа о бунте с такой точностью, что известный советский литературовед С. Андреев-Кривич даже через сто с лишним лет узнал описанные в «Вадиме» памятные места.

⁹ Руки у Лермонтова вообще были ловкие, годные к тонкой и тщательной работе. Однажды, к примеру, он смастерил бисерный ящик для своей троюродной сестры – Катюши Шан-Гирей. Потребность делать что-то руками сохранилась у него до конца жизни. В 1841 году, летом, за неделю до дуэли, на которой поэт был убит, пятигорская военная молодежь решила устроить бал по подписке. Лермонтов принял в подготовке к увеселению самое активное участие. Один из участников этого предприятия вспоминает: «Мы намеревались осветить грот... для чего наклеили до 2000 разных фонарей. Лермонтов придумал громадную люстру из трехъярусно помещенных обручей, обвитых цветами и ползучими растениями».

ствующим: «Уж так веселились, так играли, что и передать нельзя. Как только она, царство ей небесное, Елизавета Алексеевна-то, шум такой выносила».

Перехитрила-таки Елизавета Столыпина злыдню-судьбу. Мишину хворость, от хворой матери доставшуюся, и ту осилила. Вольный деревенский воздух. Вольная жизнь.

Госпожа Арсеньева, однако, не успокоилась и, опасаясь рецидива в переломном возрасте, как и советовал домашний доктор Ансельм Левис, вновь собрала поезд. На этот раз, в 1825-м, в сторону южную к сестрице Екатерине двинулись прямо-таки табором: три дочери братца Александра, она с Мишелем да с немецкой его бонной Христиной Румер. По мужской, конной части определила Мишенькиного француза – мсье Капэ.

В прежние разы, наезжая с Горячих Вод в Кислые,¹⁰ ютились в Катиной кособокой хибарке, а нынче у Хастатовых свой поместительный дом в Горячеводске (переименован в Пятигорск в 1830 г.). Однако ж и кисловодскую развалюшку Катя за собой оставила: слух о чудодейственных свойствах здешних вод ширился, в иные сезоны число приезжих втрое превышало наличие сдаваемых не токмо квартир и комнат, но и коек. Впрочем, в 1825-м Арсеньевой повезло, удалось снять, хоть и не сразу, а только в августе и переплатив втридорога, хорошее помещение в новоотстроенном особняке госпожи Ребровой – и этот дом, и эти комнаты Лермонтов опишет в «Княжне Мери». При переезде из Пятигорска в Кисловодск, с Горячих на Кислые Воды, ребровские «апартаменты» займут князь и княгиня Лиговские...

Не забыты в романе и медицинские воспоминания автора. Так, изучая в первый же день приезда топографию Пятигорска, Печорин фиксирует в журнале такую подробность: «На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльбурс; между ними было два гувернера с своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи».

В реальности в пору активного лечения от золотухи (летом 1820-го) гувернера у Мишеля еще не было. К Эоловой Арфе с мсье Капэ он будет подниматься пятью годами позже (ежедневно, и утром, до наступления жары, и к вечеру, после ее отступления). От золотухи тогда, в 1825-м, уже и следов не осталось, но доктор Левис, ощупывая ноги бабушкиного баловня, печалился: квелые. К осени и это прошло – теперь Мишель неся в гору так быстро, словно обут был не в красные кавказские сапожки, а в волшебные скороходы.

Кроме лечебной долгим тем летом была у бабки поэта и еще одна забота, для дальнейшей их с Мишей совместной жизни устроительная: уговорить сестрицу Екатерину отпустить в Россию старшую свою дочку, Марию Акимовну, насовсем отпустить, на житье, с детьми и мужем – отставным штабс-капитаном Павлом Петровичем Шан-Гиреем. В Тарханах места всем хватит, а там, глядишь, и свое гнездовье соведут. Она уж и деревеньку для племянницы в трех верстах от своего имения присмотрела. Дороговато владельцы просят, но покупателей что-то не видать, авось, сбавят. Сначала к здравому смыслу сестры зывала, а приметив, как Мишель с Машиными малышами, шестилетним Акимом и крохотной Катенькой, возится, просить-умолять стала. Екатерина Алексеевна, всплакнув, согласилась.

Аким Шан-Гирей вспоминает:

«Покойная мать моя была родная и любимая племянница Елизаветы Алексеевны, которая и уговорила ее переехать с Кавказа, где мы жили, в Пензенскую губернию и помогла купить имение в трех верстах от своего, а меня, из дружбы к ней, взяла к себе на воспитание вместе с Мишелем, как мы все звали Михаила Юрьевича. Таким образом, все мы вместе приехали осенью 1825 года из Пятигорска в Тарханы, и с этого времени мне живо помнится

¹⁰ Курс лечения на Кавказских Водах при любых болезнях был трехэтапным: после горячих серных больных пользовали ледяным кисловодским нарзаном, но для смягчения контраста в промежутке назначали ванны железные, температуры обыкновенной. Лермонтов, как известно, в свой последний приезд на Воды, подлечившись в Пятигорске, 8/20 июля 1841 года, отправился в Железноводск, принял несколько ванн, а в день дуэли купил еще пять билетов, надеясь, как обычно, закончить курс лечения в Кисловодске.

смуглый, с черными блестящими глазками Мишель, в зеленой курточке и с клоком белокурых волос надо лбом, резко отличавшихся от прочих, черных как смоль. Учителями были М-г Сарет, высокий и худощавый француз с горбатым носом, всегдашний наш спутник, и бежавший из Турции в Россию грек; но греческий язык оказался Мишелю не по вкусу... Помнится мне еще, как бы сквозь сон, лицо доброй старушки немки, Кристины Осиповны, и домашний доктор Левис, по приказанию которого нас кормили весной по утрам черным хлебом с маслом, посыпанным крессом, и не давали мяса, хотя Мишель, как мне всегда казалось, был совсем здоров, и в пятнадцать лет, которые провели мы вместе, я не помню его серьезно больным ни разу».

К воспоминаниям Шан-Гирея биографы Лермонтова относятся по-разному. Одни считают его мемуары стопроцентно достоверными, другие утверждают, что многие ситуации Аким Павлович описывает с чужих слов. На мой же взгляд, и первые, и вторые равно правы и равно не правы. Возьмем для наглядности такую подробность. В 1825 году на Водах Шан-Гирей наверняка виделся со старшим братцем ежедневно, поскольку в Пятигорске Столыпины—Хастатовы—Шан-Гиреи долго жили практически одним домом. Вместе проделали они и путешествие от Пятигорска (тогда еще Горячеводска) до Тархан. И тем не менее долгое это лето выпало из его памяти. Впечатление такое, что тарханский образ кузена написан Акимом Павловичем с оглядкой не на живого Мишеля, а на портрет Лермонтова, написанный зимой 1822 года. Одиннадцатилетний кузен в шан-гиреевских мемуарах то плачет как дитя, когда его любимец садовник Василий возвращается из кулачной схватки с деревенскими парнями с рассеченной губой, то лепит, все еще лепит, из крашеного воска потешные композиции, украшенные стеклярусом и разноцветной фольгой. Между тем сам Лермонтов, вспоминая лето двадцать пятого, видит себя отнюдь не ребенком:

«Записка 1830 года, 8 июля. Ночь. Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея 10 лет от роду? Мы были большим семейством на водах Кавказских: бабушка, тетушки, кузины. — К моим кузинам приходила дама с дочерью, девочкой лет 9... Я не помню, хороша собою была она или нет... Но ее образ и теперь еще хранится в голове моей... Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице; я плакал потихоньку без причины, желал ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату... Я боялся говорить о ней и убегал, слыша ее название (теперь я забыл его), как бы страшась, чтобы биение сердца и дрожащий голос не объяснил другим тайну, непонятную для меня самого... Белокурые волосы, голубые глаза быстрые, непринужденность — нет, с тех пор я ничего подобного не видал...»

По иронии судьбы через шестнадцать лет Лермонтов все это увидел — и белокурые волосы, и голубые глаза, — когда вновь оказался в Пятигорске в 1841-м — в последний раз. Увидел и, разумеется, не узнал «мечты своей созданье» в белокурой, бойкой и самоуверенной падчерице генеральши Верзилиной, приятельницы пятигорских своих родственников и свойственников. Эмилии Клингенберг, нареченной поклонниками «Розой Кавказа», в 1841-м стукнуло двадцать шесть. Она, видимо, была еще хороша. Ф.Ф.Торнау, автор широко читаемых в свое время «Воспоминаний кавказского офицера», описывая много десятилетий спустя балы ставропольского Дворянского собрания (в новоотстроенной гостинице Найтаки), среди прелестниц, эти балы украшавших, не забыл упомянуть и Эмилию Клингенберг (не называя, разумеется, ее имени):

«...Тогда (то есть в 1838 году. — А.М.) гостиница приняла действительно благородный вид, позволявший городским красавицам и любезникам аристократического круга переступить через ее порог, когда раздавалась бальная музыка. И куда девались эти красавицы и эти любезники? Одни состарились, разъехались, поумирали другие, и сколько из их ревностных поклонников покоятся вечным сном за Кубанью, за Тереком, на берегу Черного моря! Немногие из посетителей Ставропольского Собрания, в тридцатых предававшихся восторгу,

когда “с вод” появлялась “роза кавказская”, или трудолюбиво ухаживавших за девицей Р. и за девицей П., странствуют еще по белу свету или отдыхают под сению домашних пенатов, ожидая своей очереди уступить место новому поколению».

Девице Клингенберг, не в пример тогдашним ее соперницам, была предназначена иная участь, о чем Федор Федорович Торнау, видимо, не знал, ибо переведенный в 1856 году в Вену в качестве русского военного агента в Австрии и скончавшийся. В 1851 году падчерица генеральши Верзилиной, тридцатилетняя, по понятиям тех лет сильно немолодая девушка (практически старая дева) выйдет замуж за Акима Шан-Гирея, станет хранительницей устных воспоминаний о гениальном свойственнике, переживет *молодого* мужа и даже доживет до открытия памятника Лермонтову в Пятигорске в 1889 году. Но вернемся к тарханским мемуарам ее будущего супруга. Даже если это и не личные впечатления, а монтаж сохранивших в памяти фактов, сообщенных мемуаристу в разное время и разными людьми, они бесценны уже по одному тому, что ничего иного нам не дано.

Не отрицая, что Мишель был «счастливым одарен способностями к искусствам», Шан-Гирей уверяет, что *в то время*, то есть до 1828 года, «проявления поэтического таланта в нем вовсе не было заметно» и что «все сочинения по заказу Сарет он писал прозой, и несколько не лучше своих товарищей».

Все вроде бы правильно, ведь и сам Лермонтов признался, что *стихи начал март* только в пансионе, то есть с осени 1828 года. Не противоречит, на поверхностный взгляд, версии Шан-Гирея и еще одна заметка, сделанная Лермонтовым в 1830 году: «Наша литература так бедна, что я из нее ничего не могу заимствовать; в пятнадцать лет ум не так быстро принимает впечатления, как в детстве; но тогда я почти ничего не читал. Однако же, если захочу вдаваться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях. Как жалко, что у меня была мамушкой немка, а не русская – я не слыхал сказок народных: в них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности».

Но тут, на мой взгляд, надо принять к сведению вот такую тонкость. Стихов в домосковские годы Лермонтов, видимо, и впрямь не писал, потому что написанное стихами ему и не показывали, и не читали, и не принуждали читать и переводить. Однако чувство поэзии, в каком бы виде она, поэзия, ни являлась, было у него врожденным. Позднее он скажет об одном из персонажей «Героя...», что в душах подобных ему людей «часто много добрых свойств, но ни на грош поэзии».

Очень важно обратить внимание и еще на одну фразу из процитированного автобиографического фрагмента: *в пятнадцать лет ум не так быстро принимает впечатления, как в детстве*. Если в нее вдуматься, можно почти без натяжки предположить, что и увиденное, и пережитое, и прочитанное Лермонтовым в детстве (до пятнадцати лет) оказало на него не просто сильное эмоциональное воздействие, но и образовало его ум, точнее, способ соображения и объяснения впечатлений бытия. Эта мысль – о приоритете воспринятого в детстве – повторена и в одном из ранних стихотворений: «И долго-долго ум хранит первоначальные впечатленья». Вот почему так важно хотя бы предположить, какие книги Лермонтов прочел или мог прочитать в детстве, то есть в то время, когда почти ничего не читал.

В сильно адаптированном виде и, видимо, очень рано ему были пересказаны некоторые эпизоды из «Освобожденного Иерусалима», но именно пересказаны. В переводах что Раича, что Мерзлякова поэма Торквато Тассо слишком тяжеловесна для восприятия не только дитяти, но и отрока, а Лермонтова они поразили резкой живописностью в самом раннем детстве, о чем свидетельствует заметка все в тех же «заветных тетрадах» тридцатого года: «Когда я еще мал был, я любил смотреть на луну, на разнovidные облака, которые в виде рыцарей с шлемами теснились будто вокруг нее: будто рыцари, сопровождающие Армиду в ее замок, полные ревности и беспокойства».

А вот немецкие книги Лермонтов наверняка читал сам. В столыпинском клане детей, точнее, мальчиков по традиции воспитывали по немецкой системе, то есть с установкой на трудолюбие и ответственность. Немецкий язык и немецкая словесность были профилирующими предметами и в Московском благородном пансионе.

Вряд ли сама Елизавета Алексеевна подбирала для внука немецкие книги. Скорее всего руководительницей выбора была либо немецкая его мамушка Христина Румер, либо жена младшего брата ее матери Е.П.Мещеринова, женщина молодая, образованная и начитанная. В их московском доме на Сретенке, по свидетельству современников, имелась большая правильная библиотека. Дядюшка госпожи Арсеньевой, смолоду офицер лейб-гвардии, в отставку вышел поздно, оттого и дети, трое мальчиков-погодков, были у него поздние, в одних летах с внуком пожилой племянницы. На Сретенке у дядюшки Елизавета Алексеевна и останавливалась, наезжая в Москву. Мещериновы приютили ее и летом 1827-го, когда она решилась наконец определить внука на учение в Благородный пансион. Старший из мальчиков Мещериновых там уже учился, а двух других готовили к поступлению в это престижное учебное заведение, где, повторяю, главным иностранным языком был немецкий. Поэтому нельзя исключить появление на книжной полке Лермонтова-подростка «Альманаха сказок» Вильгельма Гауфа (1826).

Пересказанные Гауфом арабские сказки, и не просто пересказанные, а как бы спетые по-немецки на восточный мотив специально для своих воспитанников – детей барона фон Хегеля, – пользовались необычайной популярностью в России. И не только в дворянских семействах. Белинский, подростком, в гимназические годы пытался переводить Гауфа, и не исключено, что это первое соприкосновение с миром чудес через перелицованную на немецкий манер восточную сказку было столь сильным, что через много лет, в 1839 году, рецензируя русский перевод сборника «Тысяча и одна ночь», лидер отечественной критики писал: «...Никакие описания путешественников не дадут нам такого верного, такого живого изображения нравов и условий общественной и семейной жизни мусульманского Востока. Что же касается до занимательности, до увлекательности, то арабские сказки в высшей степени владеют этими качествами».

И все-таки самой важной, можно сказать, судьбостроительной (в лермонтовском случае) оказалась совсем другая немецкая книга. Книга, с которой он не расстанется до конца жизни, а автор этой книги станет для провинциального недоросля «великим героем», равняясь на которого он будет «делать себя».

...Мишелю не исполнилось еще и семи, когда Христина Осиповна, приметив, с какой быстротой под мерную диктовку учителя он заполняет французскими буквами уже распухшую от прописей самодельную тетрадку (мсье Капэ учил по старинке, пользуясь пособием, оставшимся в доме от французских уроков Марии Михайловны), решилась приохотить питомца к серьезному чтению. Хватит ему заниматься перепиской скучных учебных текстов да перекладом своими словами гриммовских сказок. Посоветовавшись с барыней, она положила перед мальчиком книжку, подаренную ей некогда ко дню ангела прежней хозяйкой. Это был один из первых выпусков «Поэзии и правды»¹¹ – автобиографии знаменитого земляка фрейлейн Румер. Закладкой, бисером шитой, нужную страницу отметила и первую фразу, чтобы интонацию установить верную, прочла вслух: «Мы знали, что улица, на которой стоял наш дом...» А теперь продолжайте, сударь! С первой попытки продолжить *сударь* не смог. Долго рассматривал каждое слово, будто это было не слово, а предмет, который следовало запомнить, чтобы нарисовать, и вдруг начал читать, хоть и медленно, но до тонкости точно передавая интонацию немецкой своей мамушки. Как если бы это была не словесная, а музыкальная фраза:

¹¹ «Поэзию и правду» Гете издавал отдельными выпусками начиная с 1811 года.

«...Улица, на которой стоял наш дом, зовется Оленьим Оврагом, но не видя ни оленей, ни оврага, любопытствовали, откуда же взялось это название. В ответ мы услышали, что дом наш стоит на месте, некогда находившемся за городом, и что там, где пролегает улица, в давние времена был овраг, а в нем содержалось несколько оленей. Этих животных охраняли и кормили...»

– Хочу оленя, – быстро сказал Мишель. – Овраг у нас есть. Хочу оленя, – и захлопнул книжку.

Оленя.

Оленя...

Оленя!!!

Петр Шугаев, еще заставший в живых односельчан Лермонтова, оставил в своих записках («Из колыбели замечательных людей») такой деревенский «анекдот»:

«Для забавы Мишеньки бабушка выписала из Москвы маленького оленя и такого же лося, с которыми он некоторое время и забавлялся; но впоследствии олень, когда вырос, сделался весьма опасным даже для взрослых, и его удалили от Мишеньки; между прочим, этот олень наносил своими громадными рогами увечья крепостным, которые избавились от него, а именно не давали ему несколько дней корма, отчего он и пал, а лося, из боязни, что он заразился от оленя, Елизавета Алексеевна приказала зарезать и мясо употребить в пищу, что было исполнено немедленно и в точности».¹²

Как отнесся *Мишель* к исчезновению рогатых друзей, мы не знаем, но, похоже, без особой печали, поскольку ему наверняка объяснили, что звери выросли и их отпустили на волю. К тому же, судя по всему, Христина Осиповна, и, полагаю, опять же с помощью детских воспоминаний великого соотечественника, уже успела занять и ум, и руки, и воображение своего воспитанника куда более интересной забавой.

На этот раз из *Гете* читала сама фрейлейн, а Миша, обращаясь к сидящей в кресле Елизавете Алексеевне, переводил с голоса:

«Обычно часы досуга мы проводили у бабушки, в просторной комнате, где было довольно места для наших игр. Она любила забавлять нас разными пустяками и потчевать отменными лакомствами. Но однажды, в канун Рождества, бабушка велела показать нам кукольное представление, и это был венец ее благодетельств, ибо таким образом она сотворила в старом доме новый мир. Неожиданное зрелище захватило наши юные души... Маленькая сцена с ее немymi актерами, сначала только показанная нам, а потом всецело отданная в наши руки, с тем, чтобы мы вдохнули в нее драматическую жизнь и научились управлять куклами, сделалась для нас, детей, вдвойне дороже уже оттого, что это был последний дар любимой бабушки, к которой нас вскоре перестали пускать из-за обострившейся болезни...»

Добыть в пензенской провинции кукольный театр труднее, чем олененка, но Елизавета Алексеевна с помощью сестрицы Натальи отыскала-таки немца-кукольника, жившего на покое у князей Долгоруких, и, заплатив не скупясь, привезла вместе с кукольным сундуком в Тарханы – дабы сделал такой же. Мишель от кукольника не отходил и, как только тот

¹² За олененком, равно как и за маленьким лосем, в Москву госпоже Арсеньевой посылать было незачем. Чудаки, заводившие в своих усадьбах зверинцы, и поближе водились. Да и вряд ли бы приказала она употреблять в пищу заразившегося неведомой хворью лося, даже в людской. Мне и то история с оленем долгое время представлялась одним из тарханских мифов, пока, перечитав (в связи с обстоятельствами, о которых речь пойдет в другом месте) «Поэзию и правду», не сообразила, какая из доступных в отроческом возрасте немецких книг сделала для него этот язык родным. Следы внимательного чтения именно первых выпусков этой книги находим и в романтической драме Лермонтова «Станный человек». Рассказывая о своем детстве, Гете вспоминает, как он, хорошо воспитанный, благонаправленный мальчик, вдруг, без всякой видимой причины истребил кухонную посуду. Случай этот, видимо, так озадачил родителей, что, вопреки обыкновению, мальчика не наказали. Без возмущения о сходной проделке Владимира Арбенина рассказывает старая его нянька: «...Помню, как на руках его таскала. То-то был любопытный; что не увидит, все – зачем? да что? а уж вспылыв-то был, словно порох. – Раз вздумало ему бросать тарелки да стаканы на пол; ну так и рвется, плачет: брось на пол. Дала ему: бросил – и успокоился...»

отъехал, притащил коробку с цветными восками, из которых прежде лепил то наполеоновских конных гвардейцев, то римских легионеров. Мастерить головы для новых кукольных актеров, как это делал немец – из бумаги и мучного клея, внук наотрез отказался – из восков, мол, сподручнее. Всех к делу пристроил. Васька-садовник старуху колдунью из липовой чурки вырезал, да так ловко! Перво-наперво представили историю про несчастного королевича, ставшего садовником у капризного короля, и его верного помощника Железного Ганса. И когда королева сдергивала дурацкий колпак с головы неказистого малого и по плечам куклы рассыпались золотые волосы, все невольно взглядывали на Ваську Калашникова...

Новая страсть так захватила Мишеля, что, даже привезенный в 1827 году в Москву для поступления в Благородный пансион, не мог от детской забавы отстать. Экзамен для провинциальных «недорослей из дворян» был строгий. Елизавета Алексеевна срочно наняла репетиторов, внук от занятий не отлынивал, старался, но, отработав назначенное время, стремглав бросался к своим куклам. Даже что-то вроде оперы для них сочинил. Елизавета Алексеевна и радовалась, и огорчалась: среди Столыпиных рукоделов не было, а Мишины руки даже бумажный лист и сгибали, и разглаживали на сгибе точно так, как делал это Михайла Арсеньев, – каким-то особым, красивым и точным движением.

Но мы опять поторопили события... На дворе пока еще зима 1826 года.

Госпожа Арсеньева, конечно же, понимает, что задерживает внука в недорослях, но медлит с отъездом из деревни, лечит душу его, уязвленную сиротством, долгим-долгим детством, теплом и уютом домашним.

Нам, людям другой эпохи, заботы и усилия Арсеньевой кажутся нормой. Во времена Лермонтова это было скорее исключением из правила. Сошлюсь на запись в дневнике приятеля Пушкина А.Вульфа: «Странно, с каким легкомыслием отказываются у нас матери (я говорю о высшем классе) от воспитания своих детей; им довольно того, что могли их на свет произвести, а прочее их мало заботит».

Но, может быть, я идеализирую образ Елизаветы Алексеевны Арсеньевой? Ведь кроме «правдивого описания того, что происходило в детстве человека, интересующего настоящее время», – так уточнил цель своих мемуаров Шан-Гирей, – да нескольких деталей, сообщенных Святославом Раевским, существует и еще один подробный рассказ о тарханской поре жизни поэта – П.К.Шугаева (отрывки из его сочинения уже цитировались).

В принципе рассказанное Шугаевым не противоречит ни тому, что заметил и запомнил Шан-Гирей, ни тому, что передал первому биографу Лермонтова его старший друг Святослав Раевский (уроженец Пензы, Раевский бывал в Тарханах в интересующее нас время). Однако и Шан-Гирей, и Раевский – люди не просто хорошо относящиеся и к Елизавете Алексеевне Арсеньевой-Столыпиной, и к внуку ее. Они, несомненно, озабочены тем, чтобы не вспомнить ничего такого, что могло бы дать повод к злоречию. Шугаев же свободен от этого как бы «внутреннего редактора». Он собирает и без разбора печатает все, что рассказали ему много лет спустя и тарханские старожилы, и пензенские обыватели, и окрестные помещики – все, кто мог что-нибудь да сказать по интересующему автора «Колыбели замечательных людей» вопросу.

Опубликованные впервые в конце XIX века, заметки П.Шугаева перепечатаны с некоторыми сокращениями во всех изданиях сборника «Лермонтов в воспоминаниях современников» и, следовательно, стали достоянием массового читателя. В комментариях о «Колыбели...» сказано уклончиво и осторожно: «Возможно, что кое-какие подробности, сообщаемые Шугаевым, не полностью соответствуют действительности». И это естественно: комментатор может с уверенностью опровергнуть факт только в том случае, если у него имеется антифакт. Антифактов нет и у нас, однако мы все-таки можем подвергнуть сообщения П.Шугаева психологической экспертизе и таким способом выяснить степень их достоверности.

По Шан-Гирею: Елизавета Алексеевна, хотя и не скрывала страстной привязанности к внуку, не обходила своим вниманием и остальных обитателей «детской республики» в селе Тарханы: «со всеми была ласкова и внимательна».

По Шугаеву: с согласия и по требованию бабушки не только деревенские мальчишки, одетые в военное платье, дабы составить потешное войско вроде того, «которое было у Петра во время его детства», но и взятые в дом барчуки должны были беспрекословно подчиняться капризам и причудам маленького деспота; пример же послушания, утверждает Шугаев, подавала вдовствующая императрица Тарханская: стремглав кидалась приказы да указы его исполнять – раньше, чем гвардейцы потешного войска, и охотнее, чем они.

Дыма без огня не бывает. И все-таки, если бы деспотизм тарханского «наследного принца» действительно был столь несимпатичным, а унижение рядовых членов гостеприимного дома настолько явным, вряд ли бы, к примеру, Николай Юрьев, дальний родственник Арсеньевой, с такой охотой и в дальнейшем пользовался ее гостеприимством: детские обиды не забываются. Даже тезка «наследника» Михаил Погожин-Отрашкевич – и тот о двоюродном брате своем сохранил самые приятные воспоминания. К свидетельствам Погожина-Отрашкевича можно отнестись с особым доверием, поскольку он, сын родной сестры нелюбимого Арсеньевой зятя, должен был бы в первую очередь подвергнуться «пыткам унижения», если таковые имели место быть. Между тем, по словам Погожина-Отрашкевича, Лермонтов с товарищами детства был обязателен и услужлив, но вместе с этими качествами «в нем особенно выказывалась настойчивость». Той же обязательности, верности данному слову требовал он и от своих товарищей.

Вот характерный эпизод, показывающий, как рано проявились в характере Лермонтова и постоянство воли, и не по-детски серьезное отношение к долгу. «...Пример его настойчивости, – рассказывает Погожин-Отрашкевич, – обнаружился в словах, сказанных им товарищу своему Давыдову. Поссорившись с ним как-то в играх, Лермонтов принуждал Давыдова что-то сделать. Давыдов отказывался исполнить его требование и услышал от Лермонтова слова: “Хоть умри, но ты должен это сделать”».

Но это мелочи. А вот факт посерьезней.

«Когда Мишенька стал подрастать, – продолжает П.Шугаев, – то бабушка стала держать в доме горничных, особенно молоденьких и красивых, чтобы Мишеньке не было скучно. Иногда некоторые из них бывали в интересном положении, и тогда бабушка, узнав об этом, спешила выдавать их замуж за своих же крепостных крестьян по ее выбору. Иногда бабушка делалась жестокою и неумолимою к провинившимся девушкам: отправляла их на тяжелые работы или выдавала замуж за самых плохих женихов, или даже совсем продавала кому-либо из помещиков».

Факт слишком важный, посему и рассмотрим его по частям.

«Разврату» в своем доме Елизавета Алексеевна действительно не терпела: это было не в ее правилах. Приехав в 1835 году в Тарханы и обнаружив, что в результате почти семилетнего отсутствия хозяйки дворян совсем распустилась, она немедленно приняла меры по наведению порядка в девичьей и передней. Вскоре после своего приезда она писала внуку в Петербург: «Девки, молодые вдовы замуж не шли и беспутничали, я кого уговорила, кого на работу посылала и от 16 больших девок 4 остались и вдова. Все вышли замуж. Иную подкупила, и все вошло в прежний порядок».

Меры, принятые Арсеньевой, были вызваны, разумеется, не только заботами о нравственном климате своего владения, но и чисто экономическими соображениями: беспутная девка что телка яловая – ни приплода, ни дохода (каждая зафиксированная в «ревизской сказке» крепостная душа – двести рублей ассигнациями при залоге). Это – во-первых. Во-вторых. Из Тархан Арсеньева увезла внука в 1827 году, когда тому не исполнилось и тринадцати лет. Приезжали они сюда и летом следующего, 1828-го, но ненадолго. Зная, как пани-

чески боялась бабка за здоровье Мишеля, трудно допустить, чтобы она по своей воле могла преподнести такое сомнительное лекарство от деревенской скуки, как подкупленную благосклонность деревенских магдалин к едва вышедшему из младенческих лет отроку. Да и в дальнейшем Елизавета Алексеевна, даже если бы и хотела, была не в состоянии предоставить в распоряжение Мишеньки крепостной гарем. При приезде в Москву долго не могла найти подходящее помещение, ютилась в домах московских родственников – людей многодетных и весьма щепетильных в вопросах нравственности и пристойности. Первый дом (на Малой Молчановке), в котором можно было держать сразу несколько «красивых горничных», не стесняя себя элементарными удобствами, вдова Арсеньева сумела снять лишь в 1829 году. Но к той поре Михаил Юрьевич в услугах бабушки по сей щекотливой части уже не нуждался. Окраинная Москва кишмя кишела молодыми девами, готовыми продать единственное свое богатство – красоту. Судя по таким стихам, как «Девятый час, уж тёмно...», Лермонтов не упустил возможности пополнить свой «мужской» опыт, как, впрочем, и все молодые люди его лет и его круга.

Пунктуальности ради надо признать, что в тарханской хронике действительно был момент, когда Елизавета Алексеевна, дабы удержать Мишеньку подле себя как можно дольше, вполне могла прибегнуть к проверенному в домашнем быту русских дворян средству от деревенской скуки. Я имею в виду приезд Лермонтова в Тарханы зимой 1836 года – уже после производства в офицеры. Но тут-то у нас против шугаевского факта имеется антифакт: собственноручное письмо Михаила Юрьевича Святославу Раевскому, в котором отпусник, запертый в Тарханах зимней непогодой, сообщает другу с принятым в гусарской среде цинизмом, что не может этим средством воспользоваться, ибо «девки воняют».

И, наконец, последнее – самое важное. По сведениям, обнародованным Шугаевым, Елизавета Алексеевна отдавала горничных, оказавшихся в интересном, или, как говорили в ту пору, «известном положении» – по вине ее собственного внука, – замуж за крепостных или даже продавала куда-то – «в розницу». Подобные случаи встречались в крепостном быту, но только не среди порядочных людей, считавших, подобно Столыпиным, что жить с чистой совестью не только приятнее, но и удобнее. Взять хотя бы дальних соседей Арсеньевой – саранских помещиков Струйских.

У Николая Еремеевича Струйского и жены его Александры Петровны было несколько сыновей; от одного из них, Леонтия, в 1804 году солдатская дочь Аграфена родила мальчика. Струйский-младший, пожалуй, не прочь был и жениться: уж очень хороша была солдатка. Александра Петровна (старик Струйский к тому времени успел умереть) не позволила. Достаточно ей хлопот и со старшим наследником – Юрием: мало того что прижил младенца от рабыни, так еще и усыновить желает – законным порядком. И усыновит: своеволен. А вот на Леонтия нажать можно – восковой...

И тем не менее, несмотря на гнев и несоизволение, госпожа Струйская ни внука незаконного, ни девку провинившуюся, мать его, в крепостном состоянии не оставила. Аграфену выдали замуж за купеческого сына Ивана Полежаева (вместе с вольной бумагой и солидным приданым: и белье, и посуда, и деньги, дабы молодые могли дом купить). И к венчанию не опоздала барыня, благословила «сноху».

После таинственного исчезновения купеческого сына Леонтий Аграфену обратно забрал. Мать и слова поперек не сказала. Подросток внук – в Москву отправила, в гимназию, и не с крепостными – отца родного в провожатые определила.

Поэт Александр Полежаев тяготился двусмысленностью своего положения – это общеизвестно. Но, думается, двусмысленность и проистекающая из нее тягость создавались не только вышеизложенными обстоятельствами. Обстоятельства были хотя и двусмысленные, но уж очень обычные. Матерью князя Владимира Одоевского, друга и наставника Лермонтова, была особа «подлого звания». Я уж не говорю о многочисленных баронах и баронессах

Вревских, прижитых богатым вельможей Куракиным от крепостных одалисок. Один из этих Вревских был приятелем Лермонтова, за другого благополучно, не испытывая неловкости, вышла замуж Евпраксия Вульф – та самая Зизи, с которой связано блистательное двустушие в «Евгении Онегине»: «Подобных талии твоей, / Зизи, кристалл души моей...»

Двусмысленное происхождение (отец – дворянин, мать – пленная турчанка) не мешало Василию Андреевичу Жуковскому стать учителем и наставником царских детей; на незаконной дочери князя Вяземского был женат и Николай Михайлович Карамзин.

Нет, не сомнительности своего происхождения стыдился Александр Полежаев. Быть сыном, пусть незаконным, знатного барина (Струйские вели родословную от Шуйского-князя) ничуть не зазорно. Зазорно быть сыном каторжника: вскоре после того как Леонтий Струйский привез сына в Москву на ученье, его за убийство дворового человека лишили дворянства и сослали в Сибирь. Несмотря на скандал, опозоривший почтенный род, Струйские продолжали заботиться о Сашке: и в университет устроили, и до конца курса довели.

Словом, Струйские очень даже помнили, что мальчик, носящий фамилию Полежаев, на самом-то деле Струйский – Полежаев хотел бы об этом забыть: приличнее считать отцом невесту куда сгинувшего купчика, чем человека, лишенного чинов и дворянства за дикое, зверское убийство!

Разумеется, для того чтобы добиться для детей, рожденных в «незаконном сожителстве», дворянского достоинства, надо было усилия приложить. Но Куракин добился. Ермолов – тоже. (В пору своего владычества на Кавказе у А.П.Ермолова были три туземные жены, с которыми наместник заключал «кебин», то есть брачное соглашение по шариату. Разумеется, в разное время. Хотя в отношении женщин «генерал седой» и придерживался, как утверждают очевидцы, «мусульманских вкусов», но не до такой степени, чтобы заводить гарем.)

У Елизаветы Алексеевны не было, конечно, таких заслуг перед отечеством, в уважение к которым власть предержащие позволили бы себе «переступить через закон», а у ее дерзкого внука – тем паче. Так ведь жив был еще Мордвинов, а он хоть и не в прежней силе находился, но и по имени своему, и по связям вполне мог сладить подобное дело, и если бы внука касалось – внука, к которому «по свойственным чувствам» «неограниченную любовь и привязанность» имела, – не только сенатора, Сенат бы на ноги подняла! Нет, не бросила бы Елизавета Алексеевна дитя малое на произвол судьбы. Не оставила бы в рабстве и в завещании не забыла. Не по воле своей после смерти Мишеньки на земле задержалась. Четыре года, четыре месяца и еще один день – как в гробу прожила – властью Божией задержалась, дабы земное исполнить, и прах дорогой в родной земле упокоить, и памятник поставить, и в церкви домашней благолепие навести. Четыре года томилась в безнадежности одиночества и о младенце, от внука зачатом, не вспомнила бы? Неужто сердцем суше соседки саранской была? Красавицы Струйской, и мужем, и детьми избалованной?

И все-таки «клеветы», собранные Шугаевым, кое о чем свидетельствуют. И сорок с лишним лет спустя не забыли Пензенского края обыватели оскорбления, нанесенного им старухой Арсеньевой: на свой лад жила – не так, как все. И с внуком своим золотушным носилась, что с торбой писаной. И надо ж такому случиться! Заморыш в великие люди вышел! И тут обошли их Столыпина, воистину – отродье сатанинское. Недаром картинка есть, с разрешения Синода писанная: лик его дьявольский – среди грешников, в геенне огненной! Весь как есть! Люди верные сказывали, своими глазами видели – в селе Подмоклево, в храме тамошнем. Не может ошибки быть! Вот тебе, гордячка тарханская! Ты его – внука Михайлу – в чин архангельский записала, с Саваофом рядом поставила, и святым воинством оборонила, и херувимчиков раб твой по куполу распустил – все исполнил по приказу твоему человек твой, к живописному делу способный.

Да не за тобой, за нами, за ничтожеством нашим, слово последнее.

Глава пятая

Итак, и этак раскидывала Елизавета Алексеевна – не сходилась пасьянс: ни воспитание на широкую ногу, ни деревенский университет не по средствам ей, недоступно по дороговизне. Была бы Подмосковная!.. Подмосковные и при средних достатках без казенных заведений обходились. Стоваривались домами, скидывались родством, глядишь, при одном богатом семействе и свои собственные, и чужие дети воспитание получают, в самых широких размерах. А там и в полк. Из гнезда домашнего да в уланы, плохо ли?

К той поре даже до уездных «простаковых» дошел истинный смысл царского указа 1762 года. Те из помещиков, кто осмелится пренебречь обязанностями, возложенными государством на дворянское сословие: не уклоняться от службы, но с ревностью в оную вступать, не меньше и детей своих с прилежностью обучать «благопристойным наукам», – будут если и не де-юре, то де-факто лишены и сословного достоинства.

Обучать, однако, можно было по-разному, и большинство, как и положено большинству, не желали тратить на сей предмет ни больших денег, ни сердечных усилий.

Как правило, нанимался гувернер, а чаще гувернантка (это было дешевле), знавшие только свой родной, то есть французский, язык, что не мешало воспитателям брать на себя преподавание и других «благопристойных наук». Под руководством полуневежественного ментора мальчики и обучались дома до шестнадцати лет, в счастливом случае – при содействии отца или матери. Естественно, свободного времени при такой вольной программе оставалось предостаточно, поэтому много гуляли, ездили верхом, учились плавать, стрелять из ружья, из пистолета. По достижении шестнадцатилетия их определяли в кавалерийский полк; в пехотные шли наследники «недостаточных помещиков», если, конечно, родителям не удавалось устроить детей еще в малолетстве в кадетский корпус. Гвардия была почти недоступной: требовались не только средства, но и связи в Петербурге. На пансион расхваливались немногие, да и то не на полный курс: самое большее года на два. Некоторые поступали в университет, но опять-таки не для штатской, ученой карьеры: университетский диплом сокращал трехгодичный срок юнкерства до шести месяцев. Но вообще-то университетов чурались: здесь было «смешение сословий», и военная служба для дворян путем юнкерства считалась более нормальной карьерой, чем гимназия и университет.

Экономить на Мишенькином образовании Елизавета Алексеевна не собиралась. На чем другом – пожалуйста, но только не на науках: в столыпинском кругу слишком серьезно относились к обязанностям дворянства, сословия, на которое по замыслу и «петровской реформы порядков», и «екатерининской реформы умов» (В.Ключевский) была возложена миссия просвещения и воспитания огромной, темной – «немытой» России.

Но куда за учебой ехать? В Петербург ли? В Москву?

Наталя к Петербургу склоняет, и зять, Григорий Данилович, в ту же сторону глядит: со слов сына Алексея Григорьевича, гусара лейб-гвардейского, столицу расхваливают. Елизавета Алексеевна колеблется. Дорогá жизнь в столице, а за другими тянуться надобно. Не вытянуть ей Петербурга, даже с помощью брата Аркадия не вытянуть. Там видно будет, а пока – нет.

Пока примерялась, Аркадий помер. Оставил на вдову семерых. Хорошо, Мордвинов-тесть жив – выдюжат.

После бунта и вовсе от мысли о Петербурге отказалась: чисто новая метла метет, все сусеки обшарила. В Москве покойнее будет: от царя подальше, сусеков побольше; в Питер-городе жизнь на просвет видна, а в Москве – укромна. Особняком домы стоят, «населенцы» особняком глядят, каждый – на особенный лад выламывается.

В декабре Дмитрий письмо прислал, о Мишиных успехах справлялся. В Благородный пансион отдавать, мол, надобно, да не тяни, Лиза, прием с девяти годов, а ему уж тринадцатый пошел, как бы в переростках не оказался.

Елизавета Алексеевна отписала не мешкая ответ, с советом согласный. И образ святой послала – каким матушка, умирая, ее, дочь старшую, благословила. Сердцем чуяла: оборона брату нужна. Опоздала оборона: ушел и Дмитрий. В одночасье скончался. 3 января 1826 года...

Тяжело пережила утрату Елизавета Алексеевна. Если б не Маша, племянница, умом бы верно рехнулась. По мужу не плакала. Дочь молча похоронила. И кончину Аркадия тихом перемогла, в силе была. А тут обессилела, в голове шумит, ноги каменные – старуха. В пятьдесят два года – «старуха Арсеньева».

Весной полегчало. В Москву собралась: Апалиху, для Шан-Гиреев присмотренную, никак нельзя упустить. Дороговато, не по земле – за красоту надбавка, да торговаться нельзя – перебьют. Деньги, конечно, имеются, но деньги на науку отложены, на науку и истрачены будут. Опять же судачить начнут: вот-де приbedнялась, прикидывалась, а сама племяннице не задумываясь 38 тыщ выложила! От наговора далеко ли до сглазу? Незачем любопытным в чужой кошелек нос совать. Как все поступают, так и она поступит: заложит часть имения в Опекунский совет. 190 душ ревизских. По 200 ассигнациями за душу. Копейка в копейку; а долг пускай на себя Шан-Гирей берут: вроде не ей, тетке, а казне должны. Но как деньги-то дешевы стали! Тарханы покойный Михайла за 58 тыщ сторговал. Так то Тарханы! А нынче за Апалиху – дача, не имение – 38 просят.

Не имела прежде никаких дел с Опекунским советом госпожа поручица вдова Арсеньева, без его услуг обходилась: там одолжит, здесь перехватит, дороже за гречу спросит, на чае да кофее экономит – вот и выкрутится. Приданое дочкино зятю выплатила, ни рубля не истратив на черный день отложенного. А в Москву все одно надо: посмотреть да прикинуть, прицениться, оглядеться. Шутка ли – на старости лет к Москве привыкать, в горожанки выходить?!

Съездила Елизавета Алексеевна в Москву, как раз на коронацию Николая Павловича угодила.

О коронации еще в апреле поговаривать стали, потом на июнь перенесли. Но тут вдовствующая императрица скончалась – опять отложили торжества. А в июле, с заговорщиками покончив, заспешили: дабы поскорее изгладить тягостное впечатление от казни, толкам глупым и пересудам конец положить.

В Москве засуетились. О ту пору свидетели коронации Екатерины еще в живых были; в твердой памяти и те находились, кто коронование Павла и Александра помнили. Но такой суматохи и такой пышности в те разы не было.

Двор и гвардия прибыли к двадцатым числам июля. Остановились, по обычаю, в Петровском дворце. И лишь через несколько дней в золотых каретах к Кремлю двинулись. Обочь дороги войска растянулись; для зрителей помосты соорудили: Николай, выигравший в наследственной лотерее российскую корону, желал, чтоб подданные могли в подробностях рассмотреть лик повелителя. Рассмотреть и запомнить. В отличие от Константина, отрекшегося, и от Михаила, статью до императорских кондиций не дотянувшего, государь был и представителен, и молод, и ростом неординарен: выше толпы на голову.

Словом, товар был таков, что его приятно было рекламировать.

И рекламировали:

«За несколько дней до торжества по улицам начали разъезжать герольды в своих богатых нарядах, останавливались на площадях, на перекрестках, трубили в трубы, читали повестку и раздавали объявления о дне коронации».

Москвичи, оставив дома, переселились на улицы, благо погода стояла отменная. Уж на что антимонархически настроены были юный Герцен и его молоденькая кузина Татьяна Пассек – и те, к неудовольствию старика Яковлева, вольтерьянца и скептика, распатриотились: каждый день в Кремль бегали, наблюдали за приготовлениями. А в Кремле уже не теснота – давка, особенно перед дворцом; часами стоят, гадая, выйдет ли государь. Дождались. И умилились. Николай Павлович на балкон вместе с братьями вышел: Константин, старший, справа; Михаил, меньшой, слева. Толпа изошла от восторга. Императрица, говорят, перепугалась: а что, если восторг бунтом, как прошлым декабрем, обернется?

Наконец День наступил.

Все колокола разом, вслед за Иваном Великим, как в Светлое воскресенье, возликовали.

Короновали, рассказывала Елизавета Алексеевна, три митрополита: Серафим Петербургский, Евгений Киевский, ну и Московский – Филарет. Сама не видела – куда мне в толчею-давку? Вечером Мещериновы, однако, из дому вытащили – на иллюминацию поглядеть. Людей в даровой театр отпустили, а сами прогуляться вышли. Все огнем горело: и стены кремлевские, и сады, и Иван Великий пылал.

А уж потом балы начались: и при дворе, и у главнокомандующего, и у послов. Юсупов всех переплюнул – в парадиз Архангельское превратил. Верно, об заклад побился, что Потемкина перещеголяет.

Ну и для народа устроили. Но тут, как водится, одно безобразие вышло.

И быков зажарили, и рога им раззолотили, и фонтаны из вин смастерили, а пивных бочек накатили – хоть пирамиду строй. Сам император праздник открыл. Для него павильон отдельный сообразили: то ли ложа оперная, то ли спальня танцорки на богатом содержании.

Подняли флаг. А народ как кинется – мигом все растащили: пиво выдули, фонтаны винные высосали. Государыня при виде неблагообразия эдакого лик веером прикрывала. Долго в павильоне не задержались, в золотые кареты переместились. А толпе и этот миг вечностью показался – на павильон накинудись: всю материю отодрали, из-за клочков дрались, помосты и те разломали. Орут: «Наше, сказано, налетай, братцы, бери даровщину!» А уж фокусники, воришки ловкие, тут как тут – по карманам шарят, разве углядишь, кто тебя по бокам жмет? Людей-то, почитай, за 100 тысяч столпилось! А сколько сereg из ушей повырывали – звери, да и только. Как разошлись, растоптанных в смерть разыскали.

А ввечеру фейерверк жгли – театр небесный устроили, денег кучу извели! Что им тыщи? Не свои, небось, казенные.

Конца коронационных излишеств Елизавета Алексеевна не дождалась. Двор до осени в Москве оставался. Но обстановку уяснила: не обойдется без последствий шестидневное представление с участием императорской четы и золотых карет.

Так и вышло: квартиры вздорожали ужасно, да и припасы жизненные чуть не вдвое. Сперва думали: временно; ан нет, к зиме цены, конечно, поубавились, сникли, но до прежних не дошли – супротив прежнего в полтора раза! Не только цены – быт перевернулся; в роскошь Москва ударилась – и в отделке, и в убранстве домов, и в экипажах, ну и в туалетах, конечно. Дома-то по-прежнему абы в чем, а уж в бальных – такие глупости завелись! Одними шляпками состояние расстроить можно!

Вот так-то: бедному жениться – ночь коротка.

Ну ничего, как-нибудь. Одно ясно – своего дома по нынешним временам не купить: за развалюху у черта на рогах – 30 тысяч. При таком жилье да с ее-то ногами свой выезд нужен, а уж это не по карману. Поблизости от пансиона квартиру искать надобно, в арбатской округе, к своим поближе...

И еще одно исполнила: навестила вдову Дмитрия, по случаю траура в Середникове оставшуюся.

Хороша столыпинская Подмосковная. С размахом строил Всеволожеский, вельможа екатерининский, с размахом и вкусом: не усадьба – картинка, на старинный лад писанная, все по местам расставлено – и красоте не тесно, и пользе не вред. Дом на горе, к дому липы ведут, обочь аллеи – службы: скотная и конюшенная. Для себя строил – чужим досталась: проигрался вельможа. И покатился колобок – из рук в руки, из рук в руки, трех владельцев переменило Средниково, пока наконец в столыпинском кулаке не оказалось.

Усмехалась сквозь слезы тайные дочь пензенского откупщика, въезжая по липовой аллее в хоромы вельможные, вверх возок забирал, и липы сорокалетние, в самый возраст вошедшие, над ним помавали: наша берет!

В покаях, однако, оробела, даже оторопь взяла, дурой, деревенщиной себя почувствовала, ни ступить, ни молвить не умеющей.

Но перемогла робость – Екатерина Аркадьевна ничего не заметила.

Удачно съездила вдова-поручица Арсеньева – и к жизни пригляделась, и деньги привезла. Не прозевали Шан-Гирей Апалиху. Теперь и Тарханы без надзора хозяйского оставлять не так боязно. С Павла Петровича, мужа Марии, толку немного – «военная косточка», не на земле родился, не при земле в возраст входил, – а Марья присмотрит – столыпинской закваски женщина: везде поспевает. Да и как не поспеть? Дети один за другим рождаются, а доходов – пенсия штабс-капитанская...

Осенью Шан-Гирей перебрались в свои владения. Акима Елизавета Алексеевна в Апалиху не отдала: мать на сносях, и с младшими хлопот хватит. А без него Мише в войну играть не с кем. Николка Давыдов от войны отлынивает, с ним мастерить – рисовать, клеить, лепить хорошо, а в войне без Акима не обойтись.

Миша к троюродному привязался – покровительствует. Двоюродного не жаловал, даром что одноклассник. До Кавказа еще разговаривали, а воротились – как не росли вместе. Она, Елизавета Алексеевна, и та взгрустнула, когда зять племянника в кадеты увез. Как-никак, а пять лет растила. А Мишеньке хоть бы что – как не было брата. Может, к отцу ревнует? Хорош Юрьев племянник, в лермонтовскую породу пошел: лицом приятен и сложен стройно, но ума обыкновенного и характера заурядного. Куда ему супротив нашего! Наш весь в затеях, что елка в игрушках, и каждую надо до ума довести – ни одного дела по дороге не бросит. Да разве поймешь внука? С виду и боек, и резов, и в шалостях удержу не знает: хочу, да и только, вынь да положь, а как задумается... Вот так и Маша задумывалась, и муж покойный. На тебя смотрит – в себя глядит.

Что же он там, в себе, видит?

Вероятно, еще летом 1826-го Елизавета Алексеевна договорилась с Мещериновыми учителями для подготовки мальчишек в пансион на паях брать: и ей, и им выгодно. У них трое, у нее трое, расход пополам. Поначалу, конечно, с одним внуком приедет, но после и Колю Давыдова привезут, и Акима. Пускай друг с дружкой соревнуются: ученью от конкуренции польза.

Мещериновы, приехавшие, как и Арсеньева, в Москву из степных краев дать воспитание детям, жили на Сретенке. Художник Моисей Меликов, подкинутый в семейство Мещериновых своим знаменитым родственником Павлом Меликовым – героем Бородина и почителем Лазаревского института восточного, – вспоминает: «Мещериновы и Арсеньевы жили почти одним домом. Елизавета Петровна Мещеринова, образованнейшая женщина того времени, имея детей в соответственном возрасте с Мишей Лермонтовым – Володю, Афанасия и Петра, с горячностью приняла участие в столь важном деле, как их воспитание, и по взаимному согласию с Е.А.Арсеньевой решили отдать их в Московский университетский пансион».

Меликов оставил нам два прекрасных портрета – Елизаветы Столыпиной-Арсеньевой и внука ее, к сожалению, словесных: будущему живописцу в 1827 году было около девяти лет; однако глаз художника в «постановке модели» уже чувствуется:

«Е.А.Арсеньева была женщиной деспотического, непреклонного характера, привыкшая повелевать; она отличалась замечательной красотой... и представляла из себя типичную личность помещицы старого закала, любившей при том высказывать всякому в лицо правду, хотя бы самую горькую».

Любопытное свидетельство: прожив полвека в дурнушках, Елизавета Алексеевна к старости перешла в разряд красавиц, и притом «замечательных». Меликов, наверное, слегка, а может быть, и не совсем слегка преувеличивает, но, видимо, и в самом деле к пятидесяти годам недостатки внешности, смолodu портившие, – и крупный рост, и степенность, и румянец, грубый и простящий, – вдруг оказались к лицу. А седина, белый, без лент, чепчик да черное простое платье восполнили и еще один «изъян» – неумение и нежелание одеваться «по моде». Черта эта тоже была родовой; во всех Столыпиных, даже тех, кто достигал высот государственных, оставалось нечто непроходимо провинциальное – упорное сопротивление светскому вертопрашеству.

И все-таки не эти возрастные сдвиги так резко изменили впечатление, какое в почтенные свои годы вдова-поручица Арсеньева стала производить на окружающих. Кем была госпожа Арсеньева прежде? Женой нелюбимой при непутевом муже. Вдовой самоубийцы, на позор и осмеяние выставленной. Тюремщицей при больной и несчастной дочери. Сквалыгой при никудышном зяте. И вот дотерпелась до торжества: внук в бабке души не чает. И нужна, и любима. Любое слово к месту. И каждая забота в благодарность. «Милая бабушка» – этому и впрямь мила. Уж и пушок над губой пробивается, а не стыдись, не украдкой чувства свои проявляет: «Зная вашу любовь ко мне...» Как не похорошеть?

И хорошела Елизавета Алексеевна, хорошела, вальяжилась да вельможилась, сглазу не опасаясь, гордилась внуком.

Мужем не довелось погордиться. И дочь честолюбия ее тайного – и материнского, личного, и родового, столыпинского, – не утешила: росла неприметной и замуж против ее воли выскочила. Зато Мишенька...

Скрипач-итальянец не нарадуется, студент-математик не нахвалится, и Зиновьев, историк, от питомца в восторге: «Чудные обещания будущности». Так и сказал. Такого не потеряешь в толпе сверстников! Непригляден, конечно, а среди Столыпиных-младших – особенно. И Григорьевичей, и Дмитриевичей как на заказ делали. А ее некрасив, чего уж скрывать, и растет плохо, а не проходят мимо – оглядываются.

«В детстве наружность его невольно обращала на себя внимание: приземистый, маленький ростом, с большой головой и бледным лицом, он обладал большими карими глазами, сила обаяния которых до сих пор остается для меня загадкой. Глаза эти, с умными... ресницами, делавшими их еще глубже, производили чарующее впечатление на того, кто бывал симпатичен Лермонтову. Во время вспышек гнева они были ужасны. Я никогда не в состоянии был бы написать портрета Лермонтова при виде неправильностей в очертании его лица, и, по моему мнению, один только К.П.Брюллов совладал бы с такой задачей, так как он писал не портреты, а взгляды (по его выражению, “вставить огонь глаз”))» (М.Меликов).

Воистину: награда за долготерпение.

Прилежен. Усидчив. Серьезен. В Тарханах почти ничего не читал. От греческого отказался. Марья Акимовна музыке учить была стала – ерзает за фортепьянами да в окно глядит: как там без него бойницы в стене крепостной пробивают? Не осилил письма нотного. А как прибыли в Москву, как почувствовал: обскакали его Мещериновы, закусил удила – не оторвешь от книжек.

Вечером улучит часок – воски вытащит; и мастер кукольный, и декоратор. А ночью запрется, свечи жжет...

Верещагины из Подмосковной вернулись, на гулянье в сады звали – отказался. Мещериновых, тех и приглашать не надо – скок в коляску, а ее капризник: некогда.

Утром раненько учитель пришел, опять за грамматику взялись... В синтаксисе внук отстаёт, не по правилам точки-тире ставит. Елизавета Алексеевна тем временем в «чуланчик» Мишенькин заглянула – на подоконнике письмо незасургученное. В Апалиху, к тетке.

Уезжая, обещался: не реже чем раз в две недели писать. Сегодня полмесяца как приехали. Точен. А ведь не учила: слово, мол, держать надобно. От мужа – требовала, и дочь гоняла, все попусту. Внуку, опытом наученная, волю дала – будь как будет. Так он сам на себя ношу взвалил, сам себя запрягать обучился.

«Милая тетенька.

Наконец, настало то время, которое вы столь ожидаете, но ежели я к вам мало напишу, то это будет не от моей лени, но оттого, что у меня не будет время. Я думаю, что вам приятно будет узнать, что я в русской грамматике учу синтаксис и что мне дают сочинять; я к вам это пишу не для похвалы, но, собственно, оттого, что вам это будет приятно; в географии я учу математическую; по небесному глобусу градусы, планеты, ход их, и прочее; прежнее учение истории мне очень помогло. Заставьте, пожалуйста, Екима рисовать контуры, мой учитель говорит, что я еще буду их рисовать с полгода; но я лучше стал рисовать; однако ж мне запрещено рисовать свое. Катюше в знак благодарности за подвязку посылаю ей бисерный ящик моей работы. Я еще ни в каких садах не был; но я был в театре, где я видел оперу “Невидимку”, ту самую, что я видел в Москве 8 лет назад; мы сами делаем театр, который довольно хорошо выходит, и будут восковые фигуры играть (сделайте милость, пришлите мои воски). Я нарочно замечаю, чтобы вы в хлопотах не были, я думаю, что эта пунктуальность не мешает; я бы приписал к братцам здесь, но я им напишу особливо; Катюшу же целую и благодарю за подвязку.

Прощайте, милая тетенька, целую ваши ручки; и остаюсь ваш покорный племянник.

М.Лермонтов».

«Я думаю, что эта пунктуальность не мешает...»

Арсеньева мысленно подчеркнула последнюю фразу: ох, как мешала ей в жизни ее собственная пунктуальность! Михаил Васильевич в тихую ярость приходил, дочь глаза опускала, чтобы мать не разглядела насмешки, так ведь она сквозь веки видит. Зять, не скрываясь, губы кривил и брови собольи к вискам начесанным вздергивал...

Еще раз перечитала бумагу – и еще одну фразу отметила:

«Сделайте милость, пришлите мои воски». С торжеством отметила! Сестрицы пугали, какое пугали – стращали: избалуешь – на шею сядет, об себе думает, тебя ни в грош не ставит. А он об восках, в Тарханах забытых, беспокоится, всерьез ее жалобы на расходы московские принимает!

По младости доверчив или по деду Михайле?

«Ежели я к вам мало напишу, то это будет не от моей лени, но оттого, что у меня не будет время».

Отныне у него никогда не будет времени, несмотря на то что очень скоро научится «удваивать его» (если воспользоваться выражением В.Ключевского).

Уже упомянутый Моисей Меликов, расставшийся с Лермонтовым в ту пору, когда тот с увлечением мастерил вместе с мальчиками Мещериновыми кукольный театр, встретился с ним после десятилетней разлуки. Встреча произошла в Царском Селе, где Моисей Егорович, своекоштный пансионер Академии художеств, делал наброски с натуры.

«Лермонтов, – вспоминал художник, – был одет в гусарскую форму. В наружности его я нашел значительную перемену. Я видел уже перед собой не ребенка и юношу, а мужчину во

цвете лет, с пламенными, но грустными по выражению глазами, смотрящими на меня приветливо... Михаил Юрьевич сейчас же узнал меня, обменялся со мною несколькими вопросами, бегло рассмотрел мои рисунки, с особенной торопливостью пожал мне руку... Заметно было, что он спешил куда-то, как спешил всегда, во всю свою короткую жизнь».

Ни разу не позволил себе Лермонтов отдохнуть и в свой первый московский год. С музыкой, русским языком, географией и математикой он справился без особого труда. Хуже обстояло с литературой. А.Ф.Мерзляков, дававший Лермонтову и братьям Мещериновым частные уроки, требовал от учеников не только знакомства с литературными новинками, но и основательного знания классических текстов – и новейших (Шиллер, Гете), и древних, античных. Шиллера Мишель одолел быстро: немецким владел не хуже, чем русским, благодаря стараниям мамушки Христины Осиповны; Шекспира проглотил для Мерзлякова – по французским переложениям. Труднее было с «антиками». Пришлось сделать усилие – «хоть умри, но ты должен это сделать»: А.Ф.Мерзляков только что выпустил отдельным изданием свои переводы из греческих и латинских авторов и посему был особенно раздражителен, ежели не встречал в питомцах почтительного интереса к излюбленному им предмету.

Несмотря на старания учителей, внука в пансион осенью 1827 года не приняли, посчитав, и справедливо, что знания *Михайлы Лермонтова* недостаточны. Но пока решали, как быть дальше – придется, похоже, возвращаться восвояси и зимовать в Тарханах, – началась распутица. К тому же занемог Мишенькин любимец – мсье Капэ. Простыл, да так опасно, что приглашенный доктор объявил легочную горячку. А все из странного, в его-то летах, франтовства. Как только Мишель испытания не выдержал, Капэ достал из саквояжика старый свой офицерский мундир и, выпросив у барыни внука в толмачи, отправился на поиски останков допожарной Москвы – какая впечаталась в его память пятнадцать лет назад. Во что бы то ни стало хотел он отыскать дом, который конные гвардейцы выбрали себе на постой и даже уберегли от поджигателей...

Искали-искали весь день, а узнали вдруг. Старик-сторож долго не хотел их впускать, но то ли, взглядевшись в долговязого иностранца, вспомнил веселых французских гвардейцев, вместе с которыми оборонял от злыдней брошенное хозяевами строение, то ли мальчишка-толмач тронул его сердце, отпер парадные двери. Покои оказались нежилыми. Хозяин с сыновьями с войны не вернулись, дочь-красавица во Францию замуж вышла, старая барыня не в себе, из дальней Подмосковной не выезжает и дом продавать не желает, а с дочерью в ссоре.

Холод в заброшенных покаях был лютый, Миша, несмотря на тулупчик, в который бабушка чуть не насильно его перед дальней прогулкой засунула, продрог, а Капэ все ходил и ходил из залы в залу – сухой, длинный, в изъеденном молью и сыростью гвардейском мундирчике. А ночью запылал. Мишель, стоя у его кровати, плакал, а мсье все шутил: *Вот погоди, встану, и мы с тобой на Ивана Великого заберемся – оттуда далеко видно...*

Не встал. Похоронили Жана Капэ – тихо, на деревенском кладбище в имении Мещериновых; священник был свой, домашний, и не стал допытываться у господ, какой веры был покойный.

В январе 1837-го, получив по простудной болезни отпуск, Лермонтов, просматривая черновики, нашел начатую и брошенную год назад поэму.

Возвращаясь прошлой зимой из Тархан, он заехал в Москву. Долго ходил вокруг *того* дома. За десять лет ничего не изменилось. Вот только старого сторожа уже не было в живых – от ворот к жилью ни одной расчищенной от снега дорожки. Ни старого сторожа, ни Жана Капэ... О Капэ вспомнила тетушка Наталья Алексеевна. Узнав о приезде Мишеля, приказала в Тарханы на Крещение и вдруг стала рассказывать историю Капэ, как слышала ее от одной из приятельниц. Дескать, выходила француза то ли дочь хозяйки дома, то ли ее воспитанница. А мсье влюбился и даже предложение сделал. И вроде как в православие пере-

шел. И помолвку объявить хотели. А тут возьми и вернись из французского похода вдовый сосед, и невеста от своего слова отказалась, и не то чтобы по расчету, а по новой сердечной склонности.

Елизавета Алексеевна, выслушав сестрин рассказ, достала из шкатулки с разными памятными вещами найденную в потайном кармане мундира Капэ миниатюру с женским личиком, вправленную в простенький серебряный медальон. И миниатюра, и медальон были нерусской работы и к жалостной истории, принесенной Наташей, отношения явно не имели...

Давно когда-то, за Москвой-рекой,
На Пятницкой, у самого канала,
Заросшего негодною травой,
Был дом угольный; жизнь тогда играла
Меж стен высоких... Он теперь пустой.
Внизу живет с беззубой половиной
Безмолвный дворник... Пылью, паутиной
Обвешены, как инеем, кругом
Карнизы стен, расписанных огнем
И временем, и окна краской белой
Замазаны повсюду кистью смелой.

В гостиной есть диван и круглый стол
На витых ножках, вражеской рукою
Исчерченный; но час их не пришел, —
Они гниют незримо, лишь порою
Скользит по ним играющий Эол
Или еще крыло жильца развалин —
Летучей мыши. Жалок и печален
Исчезнувших пришельцев гордый след.
Вот сабель их рубцы, а их уж нет:
Один в бою упал на штык кровавый,
Другой в слезах без гроба и без славы.

Ужель никто из них не добежал
До рубежа отчизны драгоценной?..

Пытаясь предугадать будущее Лермонтова в его настоящем, мы снова нарушили естественный порядок «хода вещей» и посему отступим в прошлое и из года 1837-го вернемся в 1828-й.

Перезимовав во флигеле у Мещериновых, весной, как стали съемщики по деревням разъезжаться, Елизавета Алексеевна сняла приличное помещение на Поварской.

И Мещериновы, и вдова Дмитрия, снявшая наконец траур по мужу и в полгода завершившая начавшееся еще при нем благоустройство Середнякова, уговаривали Арсеньеву не ездить на лето в Тарханы, но та отказалась: Шан-Гиреям, перебравшимся в Апалиху, некогда за ее хозяйством доглядывать. Надо своим глазом смотреть, своим умом рассудить — как и что. Павел Петрович — человек надежный, но не двужильный, а ей теперь на долгие годы учения при Мишеньке быть.

Но все устроилось. Афанасий, как оказалось, высмотрел для нее нового управляющего, из саратовских русских немцев, вместе с ним в Тарханы и появился. Понаблюдав, как братьев

выдвиженец на пару с Васькой-садовником налаживал обвалившуюся теплицу, как заставил мужиков спустить и почистить пруд, Елизавета Алексеевна успокоилась. И рукастый, и голо-
вастый, и Миша возле него вертится, по-немецки какие-то шутки шутят. Ни отца, ни деда, ни
брата старшего, все бабье да бабье... Пока жив был Капэ, беда эта почему-то не замечалась, а
теперь шилом из мешка наружу вылезла. Афанасий, сделав дело, хотел было к себе в имение
возвращаться, но для Мишеньки задержался. Карты в две руки чертят: вот тут наши, а там
– французы, а где Кутузов, а Бонапарт – где? А вчера на конюшне – и Павел Петрович тут
же, и немец – в мужской разговор, хозяйственный, встрял, невежливо так, властно: а правда
ли, дядюшка, под вами лошадь убило, а вас не царапнуло? Афанасий смеется: Столыпиных,
Миша, пули не берут, другие им смерти на роду написаны. А сам опять к лошадям – какие
обоз потянут, какие тут останутся. Внук, осердясь, вон кинулся, да в распахнутых настежь
воротцах остановился и, опершись правым плечом на косяк, смотрел – странно, холодно,
как на что-то чужое, к его жизни касательства не имеющее, но для какой-то иной надобности
наиважнейшее. Вот так и Михайла Василич на нее в ту последнюю осень стоял и смотрел – и
солнце било в распахнутую дверь конторы, где она с приказчика Федосея стружку рубанила.
Федосей арсеньевский был, мальчиком к барчуку приставленный. Женившись, Михайла его
в Тарханы забрал. Прочие души в Васильевке оставил, на раздел с братьями не пошел.

И чем наглядней проступало сходство внука и деда, тем виднее Елизавете Алексеевне:
не дотянуть Мишеньке до Михайлы Василича ни ростом, ни статью. Да что с покойником
сравнивать! У всех Столыпиных что дети, что внуки – загляденье. Про старшего Аркадь-
евича, Алексея, сестрица Наталья, на братнины сороковины в Питер отправленная, налюбо-
ваться не могла. Королевич, да и только. Ей-то легко восхищаться – свои, все трое, не хуже,
а уж про дочь и говорить нечего – царевна!

Аннет Столыпина и впрямь была хороша, госпожа Арсеньева не преувеличивала.
Мишель, не видевший кузину с прошлого лета, растерялся. Несмотря на свои четырнадцать,
Наташина красотуля смотрелась взрослой барышней – претонюсенькой, высоконькой, а
барышней; внук был ниже на полголовы и выглядел сущим ребенком. Аннет с Николень-
кой привезли кузену подарок – тетрадку своей работы с его, Мишеля, вензелем, а Наталья –
ларец с юношескими бумагами покойного брата Аркадия Алексеевича. Среди бумаг оказа-
лись растрепанный, зачитанный до дыр пушкинский «Кавказский пленник» и старое, семи-
десятих годов, издание «Вертера», с которого Аркадий, юнцом, делал свой перевод. Сохра-
нился в ларце и номер журнала, в коем отрывок из оногo напечатан. Были на дне и еще
какие-то книжки, но Елизавета Алексеевна, вручив внуку «Вертера» и «Пленника», осталь-
ное спрятала. На вырост.

Провожая Афанасия Алексеевича, сестры в Чембар, в Присутствие, по бумажным
делам завернули. Наталья, быстро управившись, укатила, а Елизавета Алексеевна задержа-
лась. В Чембаре, дожидаясь милую бабушку, Мишель вдруг ни с того ни с сего заговорил
стихами. Сам с собой. Схоронясь за стволом огромного дуба:

Повсюду тихое молчанье;
Струей, сквозь темный свод древес
Прокравшись, дневное сиянье
Верхи и корни золотит.
Лишь ветра тихим дуновеньем
Сорван листок летит, блеснит,
Смущая тишину паденьем.

Глава шестая

Первую свою поэму Лермонтов дописал уже в Москве, а название «Черкесы» придумал сразу, еще в Тарханах и, найдя старые краски и лист хорошей бумаги, нарисовал обложку.

При всей наивности этого сочинения, сочинения в буквальном, школьном значении, оно чрезвычайно показательное. Показательно уже тем, что начал Лермонтов не с мелких стихотворений, а с попытки написать «эпическую поэму». Больше того, судя по раскавыченным и почти ловко вставленным в текст цитатам, тринадцатилетний «автор» к лету 1828 года, в период подготовки к поступлению в Благородный пансион, уже достаточно много прочел: пушкинского «Кавказского пленника», стихи Батюшкова, Дмитриева, Козлова, включая козловский перевод «Абидосской невесты» Байрона.

По возвращении в Москву, видимо, уже в первые пансионские месяцы, Мишель впишет в подаренный Столыпинами альбом свой вариант «Кавказского пленника». «Черкесам», как и следовало ожидать, предпослан эпиграф из Пушкина: «Подобно племени Батыя...» Для «Кавказского пленника» Лермонтов выбрал эпиграф неожиданный – из стихотворения мало кому известного (среди предполагаемых читателей), только что умершего немецкого поэта Карла-Филиппа Конца. И вряд ли для того только, чтобы блеснуть эрудицией.

Скорее всего дабы подчеркнуть «разность» и оправдать вынесенное на титул название: «Кавказский пленник. Сочинение М.Лермонтова. Москва. 1828».

Комментаторская традиция считает сие сочинение «сознательным подражанием» Пушкину. На самом деле Лермонтов редактирует пушкинский текст, исправляя допущенные автором погрешности – с точки зрения «истинности страстей и правдоподобия обстоятельств».

Подробный анализ сделанных юным редактором поправок – сюжет сугубо литературоведческий, поэтому ограничусь одним примером. Большую часть пушкинской кавказской поэмы занимают любовные диалоги (прямо-таки арии) пленника и черкешенки, причем вопрос о том, на каком языке изъясняются влюбленные, не возникает, жанр романтической поэмы его априори снимает.

Лермонтова эта условность не устраивает. В его поэме, прежде чем обратить на себя внимание черкесской девушки, русский достаточно долгое время живет и работает вместе с другими соотечественниками, захваченными в плен много раньше героя, и, следовательно (см. «Воспоминания» Ф.Ф.Торнау,¹³ прожившего в черкесском плену более двух лет), они уже «легонько маракуют» на местном наречии. Да и черкешенка, прежде чем «заговорить» с пленником о любви, сначала приносит ему «хлеб и кумыс прохладный», а русский благодарит ее «знаком». У Пушкина черкешенка, как мы все помним, освободив пленника и удостоверившись, что тот благополучно переплыл Терек и, невредимый, «достиг противных скал», бросается со скалы... У Лермонтова кавказская легенда выглядит гораздо реалистичнее: отец черкешенки, выследив, куда по ночам ходит его дочь, убивает сначала русского, а потом и ее. Причем стреляет старый черкес в тот момент, когда девушка, не помня себя от горя, ведь даже омыть убитого ей не велит закон, плутая в темноте, выходит на берег Терека... И падает, подстреленная, – «с шумом». А далее следуют такие строки: «Но кто убийца их жестокий? / Он был с седой бородой». Убедившись, что не промахнулся, «отец несчастной» скрывается в глуши лесной...

¹³ Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера. М., 2008.

Исследователи потратили уйму времени, пытаясь выяснить, откуда взят тот или иной «блок» в ранних поэмах Лермонтова. Подводя итоги коллективных разысканий, Б.М.Эйхенбаум в работе «Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки» (1924) утверждает, что в поэзии Лермонтова нет «подлинной органической конструктивности», ибо «внимание автора направлено не на создание нового материала», а на «сплачивание готового». Дескать, юношеские его поэмы не что иное, как «упражнение в склеивании готовых кусков». Тот же метод – склеивание, только в более тонком варианте, – исследователь видит и в творчестве Лермонтова зрелого периода.

В дальнейшем от крайностей этой концепции Эйхенбаум, видимо, отказался. Однако «Опыт историко-литературной оценки» из классики лермонтоведения не выведен, хотя на самом деле он не приложим даже к пробным опытам Лермонтова-подростка (осень 1828-го – весна 1830-го), поскольку в период их создания Лермонтов и не подозревал, что сочиняет *свое*. Переписывая и переиначивая, он не заимствовал, а изучал. Брал уроки стихотворного ремесла, русского языка, пластики, поэтической «живописи», гармонии.

Словом, учился искусству композиции и тайнам сюжетосложения, но по собственному разумению, по своей, так сказать, программе, а не мерзляковской методе.¹⁴

За полтора года, до того как с конца 1830-го начнет наконец сочинять *свое* («Хаджи Абрек», «Измаил-Бей», «Боярин Орша», «Демон»), Лермонтов написал целую книгу *полу-своих* поэм: «Корсар», «Преступник», «Олег», «Два брата», «Две невольницы», «Джюлио», «Каллы», «Последний сын вольности», «Ангел смерти», «Моряк». Борис Михайлович Эйхенбаум их окрестил «коллажными». Я бы назвала их еще и «учебными», ибо, якобы копируя, Лермонтов не столько изготовлял вольные копии, сколько сочинял своеобразные парафразы. По-видимому, столь странным способом он закреплял самостоятельно изучаемый курс отечественной, и не только отечественной, словесности. Ведь для того, чтобы заявить: «Наша литература так бедна», надо было сию словесность изучить пунктуально, по частям.

Особенно внимательно прочитан Иван Иванович Дмитриев, поскольку Лермонтову уже известно, что в Университетском пансионе этого старого поэта почитают особо, да и Иван Иванович не обходит пансион своим вниманием, охотно присутствует в качестве почетного гостя на выпускных экзаменах. Сочиняя «Черкесов», Лермонтов учел и это обстоятельство – вставил в свое как бы вступительное сочинение парафразы из поэмы Дмитриева «Освобождение Москвы». Считается, что при переделке он «отбрасывает» все то, что звучит как архаизм: «И се зрю», «громы внемлю». На мой взгляд, работа над текстом была гораздо более сложной.

Дмитриев:

Вдруг стогны ратные сперлись,
Метутся, строятся, делятся,
У врат, бойниц, вокруг стен толпятся;
Другие вихрем понеслись
Славянам и громам на встречу.
И се – зрю зарево кругом,
В дыму и в пламе страшну сечу!
Со звоном сшибся щит с щитом —
И разом сильного не стало!

¹⁴ А.Ф.Мерзлякова Лермонтов недолюбливал: Мерзляков был ученый педант. А.М.Миклашевский, соученик Михаила Юрьевича, живо запомнил, «как на лекциях русской словесности заслуженный профессор Мерзляков принес... в класс только что вышедшее стихотворение Пушкина “Буря мглою небо кроет” и он, как древний классик, разбирая это стихотворение, критиковал его, находя все уподобления невозможными, неестественными, и как все это бесило тогда Лермонтова».

Ядро во мраке зажужжало,
И целый ряд бесстрашных пал!
Там вождь добычею Эреве;
Здесь бурый конь, с копьём во чреве,
Вскочивши на дыбы, заржал
И навзничь грянулся на землю,
Покрывши всадника собой;
Отвсюду треск и громы внемлю,
Глушащи скрещёт, стон и вой.

Лермонтов:

Начальник всем полкам велел
Собратся к бою, зазвенел
Набатный колокол; толпятся,
Метутся, строятся, делятся;
Ворота крепости сперлись.
Иные вихрем понеслись
Остановить черкесску силу
Иль с славою вкусить могилу.
И видно зарево кругом;
Черкесы поле покрывают.
Ряды, как львы, перебегают;
Со звоном сшибся меч с мечом;
И разом храброго не стало.
Ядро во мраке прожужжало.
И целый ряд бесстрашных пал,
Но все смешалось в дыме черном.
Здесь бурый конь с копьём вонзенным,
Вскочивши на дыбы, заржал.
Сквозь русские ряды несется;
Упал на землю, сильно рвется,
Покрывши всадника собой,
Повсюду слышен стон и вой.

Во-первых, юный автор «Черкесов» меняет систему рифмовки – за счет парных рифм увеличивает динамизм, стремительность поэтического ритма и шире – «походки стиха». Во-вторых, выделены и сохранены строки, даже на нынешний взгляд удавшиеся, «крепкие»: «Ядро во мраке зажужжало», «Метутся, строятся, делятся», «И целый ряд бесстрашных пал», «Покрывши всадника собой». В-третьих, Лермонтов устраняет погрешности против истины положений. Дмитриев, описав рукопашную схватку, пишет: «И разом сильного не стало». Лермонтов исправляет: «И разом храброго не стало», справедливо рассудив (для этого у него уже имелся солидный опыт потешных рукопашных), что в этом роде боя больше всего рискует не самый сильный, а самый храбрый, самый отчаянный. Но интереснее всего переделка, которой подвергся самый выразительный эпизод боя – «поведение» раненого коня. У Дмитриева конь с копьём во чреве вскакивает на дыбы. Лермонтов, воссоздав «в уме» картину, замечает ошибку: ранить коня в живот брошенным копьём можно лишь в тот момент, когда конь уже «вздыбился». И устраняет несуразность: «Бурый конь с копьём вонзенным, вскочивши на дыбы, заржал». У Дмитриева раненая лошадь падает навзничь,

«покрывши всадника собой». Лермонтов, уже к тринадцати годам отличный наездник, знает, что конь может подмять под себя сброшенного всадника лишь в случае, если, упав, начнет сильно «рваться».

Умение сочинять считалось необходимым для отроков, поступающих в московский Благородный пансион, во всяком случае, для тех, кто собирался и конкурсные испытания выдержать с блеском, и курс кончить с отличием. А Лермонтов на иных условиях пребывание в пансионе себе не представлял. Несмотря на тайные мечты о всемирной славе, в первые годы московского житья у его честолюбия была вполне конкретная и не такая уж великая цель.

Прежде всего надо поступить, а это было не так-то легко, недаром с первой попытки ничего не вышло. Несмотря на очень скромное помещение – крашенные полы, зеленые скамейки в аудиториях и мало удобные дортуары, – заведение пользовалось блестящей репутацией, упроченной за ним в течение многих лет; курс был лицейский, и выпускные воспитанники получали, в зависимости от прилежания, чины 10-го, 12-го и 14-го классов, с университетскими правами. В лермонтовскую пору пансион был переполнен до такой степени, что поступить туда полным пансионером было почти невозможно – за неимением вакансий. Провинциальные дворяне, не надеясь, что их отпрыски сдадут вступительный экзамен с надлежащим блеском, срочно разыскивали московских родственников, согласных приютить мальчишек, если тем удастся пройти хотя бы в полупансионеры. Лермонтову выходило послабление: Елизавета Алексеевна для того и перебралась в Москву, чтобы не отдавать внука на полный пансион.

Вовсе не стремясь сделать из своих воспитанников профессиональных поэтов, преподаватели старались возбудить в них вкус и охоту к литературной журналистике. Рождалась массовая отечественная периодика, спрос читающей публики на русские журналы и альманахи был огромным; предложение пыталось не отстать от спроса: периодические издания с самыми причудливыми названиями – «Амфитрион», «Соревнователь», «Мнемозина» и т. д. – так и сыпались.

Сыпались и, увы, слишком быстро осыпались: не хватало ни опытных издателей, ни профессионально подготовленных журнальных работников. А так как среди преподавателей и пансиона, и университета было несколько литературных журналистов, на свой страх и риск осваивающих новый в России род «литературной карьеры», то, оставаясь де-факто обычным учебным заведением, своего рода филиалом университета, Благородный пансион к началу 20-х годов стал чем-то средним между нынешним литературным и полиграфическим институтами, то есть заведением, дававшим навыки и переводческого, и издательского, и оформительского ремесла – тем, разумеется, кто проявлял склонность и интерес к подобного рода занятиям. Однокашник Михаила Лермонтова вспоминает:

«Начальство поощряло занятия воспитанников сочинениями и переводами вне обязательных классных работ. В высших классах ученики много читали и были довольно знакомы с тогдашнею русскою литературой... Мы зачитывались переводами Вальтера Скотта, новыми романами Загоскина, бредили романтической школой того времени, знали наизусть многие из лучших произведений наших поэтов. Например, я твердо знал целые поэмы Пушкина, Жуковского, Козлова, Рылеева ("Войнаровский"). В известные сроки происходили по вечерам литературные собрания, на которых читались сочинения воспитанников в присутствии начальства и преподавателей. Некоторыми из учеников старших классов составлялись, с ведома начальства, рукописные сборники статей в виде альманахов (бывших в большом ходу в ту эпоху) или даже ежемесячных журналов, ходивших по рукам между товарищами, родителями и знакомыми. Так и я был в одно время "редактором" рукописного журнала "Улей", в котором помещались некоторые из первых стихотворений Лермонтова (вышедшего из пансиона годом раньше меня); один из моих товарищей издавал другой

журнал – “Маяк” и т. д. Мы щеголяли изящною внешностью рукописного издания. Некоторые из товарищей, отличавшиеся своим искусством в каллиграфии... мастерски отделявали заглавные листки, обложки и т. д.».

Лермонтову, бравшему домашние уроки у преподавателей пансиона, все это было, разумеется, известно. Поэтому, не удовлетворяясь обязательной программой, он уже загодя начинает пробовать свои силы и в литературных занятиях, причем по унаследованной – по столыпинской линии – гибкости натуры именно в том направлении, какое особо поощряется в Благородном пансионе: «Черкесы» – пробное сочинение как бы на редакционно-издательское отделение, рукописный журнал «Утренняя заря» – испытательная работа «по полиграфической части».

Что до стихов, какие Лермонтов сочиняет для домашнего журнала, так это пока еще дань необходимости. Если есть обложка, то должна быть и начинка. Коля Давыдов, давний, с тарханской поры, напарник во всякого рода рисовальных и театральных затеях, на ее изготовление не способен, как и остальные члены «редколлегии». А у него, Мишеля, уже есть некоторые навыки: написал же он либретто по пушкинским «Цыганам» для им же сочиненной «оперы» и еще несколько драматических этюдов для театра восковых кукол. Отсюда и распределение ролей: Лермонтов – «авторский актив», Коля Давыдов – «главный редактор и оформитель».

Аким Шан-Гирей, один из первых читателей «Утренней зари», вспоминает: «Журнала этого... вышло несколько номеров, по счастью, перед отъездом в Петербург все это было сожжено и многое другое при разборе старых бумаг».

Согласиться с приговором Шан-Гирея мы никак не можем. Пусть в сделанных на скорую руку, по готовым образцам, сочинениях тринадцатилетнего Лермонтова и в самом деле нет ничего выдающегося, быстрота, с какой он освоил этот вид литературной работы, удивительна. Но еще удивительнее другое: воля к преодолению новых, не возникавших прежде трудностей, воля и упорство, которые враз, без раскачки обнаруживаются в бабушкином баловне, выросшем «в развращающей обстановке помещичьей праздности», «ужасно способствующей капризному развитию» (Герцен).

Иван Аксаков, первый биограф Тютчева и муж его дочери, задавшись целью не просто изложить известные ему факты жизни и деятельности гениального тестя, но и поразмыслить на его примере об «участи талантов на Руси», так сформулировал идею своего очерка: «Проследить, по возможности, самое развитие этой многоодаренной природы, – соотношение ее особенных психологических условий с условиями бытовыми, общественными, историческими; ту взаимную их связь и зависимость, которая создала, определила и ограничила ее жизненный жребий».

Особенные психологические условия, послужившие первоначальной средой развития Тютчева, почти до буквальности сходны с теми, какими, казалось бы, был ограничен жизненный жребий Лермонтова в пору его деревенского, слишком долгого детства.

Как и Тютчев, Лермонтов – любимец и баловень бабушки; как и в Тютчеве, рано обнаруживается в нем талантливость самого широкого диапазона – обстоятельство, если брать правило, упраздняющее необходимость усилий. Тот же оранжерейный климат – «домашний круг», созданный заботами Елизаветы Алексеевны, где все, как вспоминает учитель Михаила Юрьевича А. Зиновьев, «было рассчитано для удовольствия внука».

Разумеется, Елизавета Арсеньева делала все, чтобы развить природную даровитость Мишеньки, но о том, что способности нуждаются в высшем и ответственном воспитании воли, что, несмотря на талантливость, и даже именно в связи с ней, в ребенке необходимо сознательно и последовательно «укоренять привычку к упорному и последовательному труду», она вряд ли догадывалась. Так далеко ни ее здравый смысл, ни прозорливость не заглядывали. Она даже элементарных педагогических правил по отношению к своему

баловню не соблюдала: ни в чем ему не отказывала. А может, потому и не отказывала, что прозревала в нем работника – в недетском упорстве, в настойчивости, с какой внук стремился «к совершенству», мастера из крашеных восков фигурки и украшая их стеклярусом? Работника, способного и к самовоспитанию, и к самоограничению, и к долгому, требующему напряжения труду? Уже в младенчестве все эти качества, природой заложенные и по младшим братьям милые, видела? Уже тогда понимала, что внука, и балуя сверх меры, нельзя избаловать, нельзя испортить потворством органическую потребность действовать? Выросший за «розовыми шторами» барского особняка, единственный наследник и общий баловень, освобожденный привилегиями рождения и неусыпными заботами родственников от всех земных забот, то есть фактически обреченный на *ничегонеделанье*, он ощущает в себе «силы необъятные» и такое постоянство воли, необходимое для деятельной жизни, какому мог бы позавидовать даже честолубец образца Жюльена Сореля! И это в николаевской-то России, где поощрялся лишь один вид деятельности – имитация ее? Где единственным «спасением» было «ничтожество», то есть полная атрофия «высших интересов»? Это обстоятельство Лермонтов, как свидетельствует его «Монолог» (1829), принял к сведению очень рано:

Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете.
К чему глубокие познания, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем?

Сознание обреченности не остановило Лермонтова. Его «фатализм» был особой, лермонтовской складки. Он не исключал, а включал в себя сомнение («кто знает наверное, убежден ли он в чем или нет?»), а значит, не отменял ни решительности, ни правила, которому Лермонтов, как и его Печорин, твердо следовал на протяжении своей недолгой жизни: «Ничего не отвергать решительно и ничему не вверяться слепо». Не отверг он и возможности употребить с пользою для отечества и глубокие познания, и талант, и даже любовь к свободе.

Впрочем, в данном случае действовал, выбирал и решал столько же расчет, сколько и инстинкт самосохранения. Утверждение это может показаться парадоксальным, но лишь до тех пор, пока мы не сопоставим его со следующим, явно автобиографическим, соображением из «Героя нашего времени»:

«...Тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара».

Общим у Тютчева и у Лермонтова был и любимый учитель по русской литературе – Семен Раич, человек, по отзывам современников, «в высшей степени оригинальный, бескорыстный, чистый, вечно пребывающий в мире идиллических мечтаний, сам олицетворенная буколика, соединявший солидность ученого с каким-то девственным поэтическим пылом и младенческим незлобием».

В ту пору, когда Лермонтов обучался в пансионе, Раич вел занятия по практическим упражнениям в российской словесности, а также издавал журнал «Галатее». «Взрослые» литераторы относились к нему иронически. Но для Лермонтова это был «свой» журнал. Начав «кропать стишки», он невольно оглядывался на тексты, появлявшиеся на его страницах. А в «Галатее», между прочим, в 1829 году была опубликована «Весенняя гроза» Федора Тютчева. Одну строфу из этой «лирической пьесы», перекомпоновав, Мишель использовал уже в «Кавказском пленнике» (1829).

Тютчев:

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам.
И гам лесной и шум нагорный —
Все вторит весело громам.

Лермонтов:

Лежал ковер цветов узорный,
По той горе и по холмам;
Внизу сверкал поток нагорный,
И тек струисто по камням...

Видимо, стихи Тютчева про грозу в начале мая настолько поразили Лермонтова, что он тут же попробовал и сам изобразить грозу. Судя по всему, стихи его не удовлетворили, во всяком случае, Раичу грозовые свои вариации он не показал.

Все так... Но при сходных «биографических предпосылках» «сильный ум» у Лермонтова действовал заодно с на редкость сильной волей, а у Тютчева – «со слабодушием» «при бессилии воли», доводившим, как свидетельствует его зять, «до немощи».

И вот еще какой момент следует принять к размышлению. Развитие многоодаренной натуры Тютчева происходило почему-то так, что в стихи «преображалась» (если употребить есенинское слово) лишь часть его жизни, тогда как Лермонтов отправился по этой дороге «целиком». В эссе «Нечто о поэте и поэзии» Константин Батюшков, чьи «Опыты в стихах и в прозе» были, по свидетельству Шан-Гирея, настольной книгой юного Лермонтова, писал: «Дар выражать и чувства, и мысли свои давно подчинен строгой науке... Но самое изучение правил, беспрестанное и упорное наблюдение изящных образцов – недостаточны. Надобно, чтобы вся жизнь, все тайные помышления, все пристрастия клонились к одному предмету, и сей предмет должен быть искусство. Поэзия, осмелюсь сказать, требует *всего человека*. Я желаю... чтобы поэту предписали особенный образ жизни, пиитическую *диэтику*; одним словом, чтобы сделали науку из жизни стихотворца... Первое правило сей науки должно быть: живи, как пиешь, и пиши, как живешь».

Лермонтов был первым великим русским поэтом, кто принял как «вызов року» это правило творческого поведения.

Желание автора «Опытов в стихах и в прозе» до сих пор не осуществлено: наука из жизни русского стихотворца не создана. Но тот, кто возьмет на себя этот труд, не сможет обойтись без сравнения итогов жизни двух гениальных русских поэтов – Тютчева и Лермонтова.

Федор Иванович Тютчев. 1803–1872. И тоненькая книжка лирических стихотворений. Да, «наш патент на благородство», да, «томов премногих тяжелей», но все-таки – одна-единственная.

Михаил Юрьевич Лермонтов. 1814–1841. И целое собрание сочинений: стихи, поэмы, романсы, драмы... Конечно, среди публикуемых и в академических, и в обычных четырехтомниках поэта есть произведения, для печати не предназначавшиеся; немало и таких, которые автор не успел довести «до совершенства». Но и эти получерновые тексты интересны нам не только как лабораторные опыты гения.

Впрочем, ни в 1827-м, ни в 1828-м Лермонтов еще не уверен, что он «авторский талант», но уже догадывается: жизнь, которую он ведет, существование, ищущее, но не нахо-

дящее «великой цели», – «в покорности незнания», в «рамках ничтожества» – не истинное его предназначение.

А кроме того, в этой черноволосой, с белым странным клоком над высоким лбом, слишком большой для невеликого роста голове рождалось слишком много идей, пока, повторяю, еще вполне ребяческих, однако властно и сильно побуждающих к действию.

Глава седьмая

1 сентября 1828 года внук гвардии поручицы вдовы Елизаветы Арсеньевой после соответствующего испытания в науках наконец-то зачислен в четвертый класс Благородного пансиона полупансионером.

Первый барьер взят. Казалось бы, можно сделать передышку. Но Лермонтов не позволил себе расслабиться.

Полупансионеры должны были являться на занятия к восьми утра и распускались лишь к шести вечера. После шести открывался «пансион на дому». Несмотря на протесты бабушки, боявшейся, что «Мишенька надорвется», Лермонтов берет дополнительные уроки и по тем предметам, которые его особенно интересуют (немецкая литература, отечественная словесность), и по тем, где он чувствует себя не совсем уверенно.

6 апреля 1829 года на традиционном Торжественном собрании, в присутствии И.И. Дмитриева и других почетных гостей, среди отличившихся воспитанников назван и Михаил Лермонтов. Он действительно отличился: уже в декабре сдал экзамены за четвертый класс, получил два приза – книгу и картину, правда, в число первых учеников все-таки не попал. Подвели нелюбимая латынь и русский синтаксис, в котором Мишель, по мнению преподавателей, не силен: упрямо ставит знаки препинания не по правилам, а как ему представляется правильным. Елизавета Алексеевна расстроилась, а внука эта маленькая неприятность только подстегнула. В Апалиху тетушке Марии Акимовне было отправлено такое письмо: «Вакации приближаются и... прости! достопочтенный пансион. Но не думайте, чтобы я рад был оставить его, потому что учение прекратится; нет! дома я буду заниматься еще более, нежели там!»

И ведь в самом деле засел за книги, подгоняемый задетым за живое самолюбием. Мальчики из московских литературных и окололитературных семей попасть в первые ученики не стараются, зато в курсе всех злободневных литературных событий – и московских, и столичных, и парижских.

Рассердившись, Елизавета Алексеевна, не дожидаясь майской теплоты, уже в апреле увезла внука в Средниково. Но и там, едва устроились, Мишель объявил о намерении заниматься все лето. При ученой невестке Арсеньева возражать не осмелилась, еще сочтет пензенской Простаковой.

Обрадовавшись, что к книгам покойного мужа наконец-то прикоснутся бережные родственные руки, Екатерина Аркадьевна (а она не только отличная музыкантша, но и постоянная читательница, ни одного интересного французского романа не пропускает) провела любознательного гостя в библиотечный овальный зал,¹⁵ объяснила, как открывается дверь – запор был с секретом – и куда спрятать ключ, когда устанет читать. А дверь, Миша, обязательно запри, чтобы дети не разбойничали. Показала и как лестницей раздвижной пользоваться, чтобы, не дай бог, не рухнуть.

Начал Лермонтов с самого ему, провинциалу, неизвестного – с модных французских романов. Покончив с новой Францией, на что ушел чуть ли не весь май, стал педантично, по частям обследовать книги, собранные покойным Дмитрием Алексеевичем. Большую часть высоченных, до потолка, узких и строгих шкафов занимали сочинения ученые; их Мишель

¹⁵ По-видимому, основательность библиотеки, собранной Дмитрием Столыпиным, и привязывала Лермонтова в течение трех лет к Средникову; так прочно привязывала, что на просьбы бабушки навеститься в Тарханы отвечал решительным отказом. Елизавету Алексеевну сильно беспокоило брошенное на управляющего хозяйство, особенно теперь, когда Афанасий (в январе 1830 г.) женился. Но возражать внуку не смела, да и невестка, Екатерина Аркадьевна, была на Мишенькиной стороне. Ей нравилось, что книги покойного мужа не томятся без дела. Потом и племянница, Сашенька Верещагина, стала за кузена заступаться. Вы его, Лизавета Алексеевна, в недорослях задержали, вот и спешит наверстать упущенное.

только погладил по кожаным, с тусклым золотом, корешкам. Опечалившись, хотел было сложить лестницу, но тут-то, к великой своей радости, и обнаружил самое нужное. Во-первых, почти полного Гете – до тех пор, кроме «Вертера» и нескольких первых выпусков «Поэзии и правды», он сочинений великого сего мужа, «ученого, поэта и патриота», и в руках не держал. Обнаружил, да еще и на видном, удобном месте, чтобы всегда под рукой, целую библиотечку русской поэзии.

Вернувшись к началу занятий в Москву, Мишель немедленно отправился в путешествие по книжным лавкам и вскоре устали томиками отечественных сочинителей книжную свою полку. Точно такими, как у покойного дядюшки. И в том же порядке. Пушкина среди них, правда, не было. Монеток, какие специально на книжки подарила ему Екатерина Аркадьевна, на «Руслана и Людмилу» не хватило.¹⁶ А просить у бабушки он не хотел. Она и так печалилась, что и образование, и несусветные московские цены ей не по карману. «Руслана и Людмилу» Лермонтов прочтет попозже, уже зимой, у Верещагиных. Матушка Сашеньки, сестра Екатерины Аркадьевны, обожала балет, особенно волшебного «Руслана», а Петр Васильевич Сушков, вдовый родитель Додо, делал вид, что обожает Сашеньку, и, чтобы подольститься к предполагаемой теще, к билетам на премьеру приложил еще и Пушкина. *Это вам вместо либретто, Елизавета Аркадьевна...* «Руслан» что на сцене, что в поэтическом виде Лермонтова разочаровал. То ли дело настоящие пушкинские стихи. По секрету от бабушки ему показывала их середниковская тетушка. Они и хранились секретно, в особой шкатулке, вместе с бумагами и письмами Дмитрия Алексеевича.

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье.
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремление.

Поздней осенью 1829 года, как и было условлено, Наталья Алексеевна, по дороге в Петербург, привезла Акима.

Поднявшись по узкой лесенке в кабинет кузена – маленькую светелку под крышей, Шан-Гирей страшно удивился, разглядев на книжной полке библиотеку русской поэзии: Ломоносов, Сумароков, Державин, Жуковский, Вяземский, Батюшков, Языков, Козлов, Пушкин! Большую перемену нашел пензенский кузен и в самом Мишеле. К пятнадцати годам Мишель так резко и вдруг повзрослел, что Аким и представить уже не мог, что серьезный и взрослый братец будет, как и прежде, играть с ним в солдатиков. Поразили Акима и лежавшие на столе толстенные тетради для разных сочинений. Больше всего понравилась ему поэма «Черкесы».

Это уже не какие-то стишки на именины или на случай, а настоящая – на целую тетрадь – кавказская повесть!

Понаблюдав за играми и беседами кузенов, госпожа Арсеньева огорчилась: Аким для Мишеля и слишком юн, и чересчур прост. Оглядевшись (как и все Столыпина, Елизавета Алексеевна ничего не делала сгоряча), не чинясь нанесла визит жившим тут же, на Малой Молчановке, по соседству в собственном доме господам Лопухиным. Кроме взрослых, на выданье, девиц – Марии и Елизаветы – в милом этом семействе был еще и сын Алексей, по-домашнему Алексис, ровесник внуку. С Алешей и свела своих мальчишек: трое – уже

¹⁶ В ту пору, кроме сборника 1825 года, «большой книги» у Пушкина не было, а отдельные вещи, «рассеянные по брошюрам», продавались «нестерпимо дорого для собирателей»; даже люди не бедные их порой переписывали, иногда собственноручно. Михаил Погодин, к примеру, переписал в подарок приятельнице «Бахчисарайский фонтан», а для себя – «Бориса Годунова».

компания. Выбор бабушки оказался удачным: с Алексеем Лопухиным Михаил Лермонтов подружился всерьез.

Чем обернется для внука приятное соседство, когда через два года Лопухины привезут из деревни в Москву на ярмарку невест младшую из трех сестер, шестнадцатилетнюю Варвару, Елизавета Алексеевна, при всей своей предусмотрительности, угадать, конечно же, не могла.

Но все это – и первая истинная любовь, и первое взрослое горе – еще впереди, ведь на дворе осень 1829-го, первого покойного года в их странной – старуха да дитя – обездоленной столькими безвременными утратами семье. До июля 1830-го не только горе, но и крупные неприятности обходили дом на Малой Молчановке...

Была в шкафу Дмитрия Алексеевича и еще одна полка. Названия книг, стоявших на ней, Мишель разобрать не смог, сообразил только, что написано по-английски, и это его задело. Английского экзамена в пансионе не было, но несколько мальчиков, даже не москвичей, и Купера, и Вальтера Скотта читали в оригинале и на тех, кто довольствовался французскими переводами, поглядывали свысока.

Английского учителя Мишель у бабушки не выпрашивал. Елизавета Алексеевна, заехав как-то к Мещериновым и узнав, что те взяли к сыновьям молоденькую англичанку, сама заговорила об этом. От мещериновской маленькой леди внук наотрез отказался. Дескать, мне другой англичанин надобен, и, не умея объяснить, какой именно надобен, поставил томик Гете, все ту же «Поэзию и правду», стал переводить с листа:

«...Нам с сестрой в ту пору было суждено познать многообразие и жизни и трудов: надо же было так случиться, чтобы в нашем доме вдруг объявился учитель английского языка, который выразил готовность в течение месяца обучить всякого мало-мальски способного ученика настолько, чтобы дальше он мог заниматься английским уже самостоятельно. Цену он брал умеренную... Отец, ни минуты не колеблясь, дал свое согласие на этот опыт и первый урок у расторопного педагога взял вместе с нами... Занятия пошли своим чередом, мы тщательно готовились к ним и в течение месяца даже пренебрегали другими. С учителем мы распрощались, взаимно удовлетворенные. Он еще оставался во Франкфурте, так как от учеников у него отбоя не было, и время от времени заходил нас проводить, чтобы по мере надобности помогать нам...»

Елизавета Алексеевна, любясь внуком, давно уже была согласна и на этот расход, но Мишель, увлекшись своим «великим героем», продолжал ее убеждать в правильности подобной методы.

– Вы только послушайте, милая бабушка, что придумал этот гениальный человек, будучи мальчиком, чтобы закрепить свои знания:

«Я придумал роман, в котором действовали шестеро или семеро братьев и сестер, рассеянных по всему свету и в письмах сообщаящих друг другу о своей жизни и новых впечатлениях. Старший брат на хорошем немецком языке рассказывает о разных перипетиях своих странствий... Один из братьев изучает богословие и образцово пишет по-латыни, иной раз заканчивая письмо еще и греческим постскриптумом. Уделом третьего, служащего по торговой части в Гамбурге, становится английская корреспонденция, а следующего за ним, живущего в Марселе, – соответственно, французская. Для итальянского был изобретен музыкант, впервые отправившийся в дальнее турне; младший, нахальный желторотый юнец, для которого у меня в запасе не было уже иностранного языка, изъяснялся в письмах на некоем немецко-еврейском диалекте, приводя в отчаяние адресатов своими ужасными каракулями и потешая родителей этой странной затеей...»

Ах, милая бабушка, разве это не замечательно? Один план такого романа показывает в Гете гения!

В причудливых затеях Мишенькиного кумира вдова-поручица Арсеньева ничего не понимала и разделить восторги внука не могла, а вот нужного учителя сыскала. В отличие от того, из Франкфурта, московский англичанин, мистер Винсон, цену заломил неслыханную,¹⁷ но Миша, побеседовав с ним, уверил: как раз то, что нужно. Это же ненадолго. Только на зиму. Вот и обойдется дешевле, нежели фарфоровая куколка Мещериновым.

Итак, с осени 1829-го Мишель усиленно занимается английским, и первой книгой, которую он смог осилить на языке оригинала, были дневники и письма Байрона, изданные Томасом Муром, автором популярной в России поэмы «Лалла Рук», блестяще переведенной В.А.Жуковским.

К началу тридцатых пишущая и читающая русская публика уже успела слегка охладеть к романтическому гению романтической Европы. Разжалованный из «властителей дум» (Пушкин) во властители, а то и развратители чувств, Байрон, перестав слыть поэтической звездой мировой величины, благодаря Муру словно бы очеловечился. Вот что пишет, к примеру, приятель Пушкина Алексей Вульф: «С тех пор, как Мур раскрыл... всю жизнь его и показал характер его со всех сторон, во всех положениях жизни и постепенном изменении оного, то сделался я даже пристрастным обожателем его слабостей в той мере, как любишь недостатки свой любовницы... Кажется, будто бы я вместе с ним жил – так живо я себе представляю его образ жизни, его привычки, странности...»

Лермонтов на эту наживку не клюнул. За человеческими странностями и причудами мятежного лорда угадал художника, обогнавшего свой век и волею рока поставленного перед выбором: либо «тесный путь спасения», либо «страшная жажда песнопенья», в земных пределах утоления не знающая. Словом, поначалу, еще не добравшись до стихов, он принял Байрона чуть ли не за своего двойника, но не по строчечной сути, а по составу души, по предрасположенности к сильным впечатлениям, по необузданности пылкого воображения.

Я молод; но кипят на сердце звуки,
И Байрона достигнуть я б хотел;
У нас одна душа, одни и те же муки, —
О, если б одинаков был удел!..

Нет, нет, Михаила Лермонтов и в шестнадцать мальчишеских лет прекрасно знает: в житейском отношении байроновский удел для подданного Российской империи, даже если он дворянин, недостижим.

Байрон, объездивший чуть ли не весь Старый Свет и добрую половину Ближнего Востока...

Байрон, на свои личные средства вооруживший отряды волонтеров для помощи грекам, боровшимся за независимость...

Байрон, произносящий в палате лордов антиправительственные речи...

Да о такой судьбе даже и мечтать смешно!

Равнение на Байрона, уравнивание с Байроном в случае с Лермонтовым шло на ином уровне, на уровне проверки поэтических возможностей и невозможностей русской просодии.

¹⁷ Мистер Винсон и впрямь был из дорогих: три тысячи в год и на всем готовом, включая помещение; для англичанина с женой пришлось снять отдельный флигель. Но деньги были истрачены не зря, не на ветер пущены. Винсон не стал мучить питомца ни грамматическими упражнениями, ни тонкостями фонетическими. Быстро сообразив, что «редкий язык» нужен внуку прижимистой барыни не для того, чтобы при случае блеснуть английским словом, он сразу дал ему Байрона – для самостоятельного чтения, а для занятий приказал срочно купить Томаса Мура.

От тех самых первых (осень – зима 1829–1830 г.) – прямо по Байрону – английских штудий в учебных тетрадах Лермонтова сохранился прозаический перевод байроновской «Тьмы». Текст этот точнее, чем переводы поэтические, дает представление о том, что Лермонтов называл заимствованием и что на самом деле было попыткой освободить русский поэтический язык от узаконенных традицией стеснений. Неординарность, я бы даже сказала, дерзость лермонтовского подхода станет особенно наглядной, если сравнить сделанный им перевод с переводом той же «Тьмы», выполненным таким безукоризненным стилистом, как И.С.Тургенев.

Тургенев:

Час утра наставал и проходил,
Но дня не приводил он за собою...
И люди в ужасе беды великой
Забыли страсти прежние... Сердца
В одну себялюбивую молитву
О свете робко сжались – и застыли.

Лермонтов: «Блестящее солнце потухло, и звезды блуждали по беспредельному пространству, без пути, без лучей: и оледенелая земля плавала, слепая и черная, в безлунном воздухе. Утро пришло и ушло – и опять пришло и не принесло дня; люди забыли о своих страстях в страхе и отчаянье: и все сердца охладели в одной молитве о свете».

Казалось бы, и Тургенев, и Лермонтов почтительно следуют за оригиналом, различия касаются мелочей. Но, как известно, в искусстве мелочи все и решают. Там, где нужна энергетическая краткость (сравните с лермонтовским решением: «все сердца охладели в одной молитве о свете»), Тургенев многословен. И наоборот: там, где следует изобразить длительность оставшегося без солнца и света безвременья, так точно переданную Лермонтовым, Тургенев почему-то «экономит» поэтическое пространство. Далее. У Лермонтова – ярко-непривычное: «населенцы мира»; у Тургенева – вялое «имеющие жилища»; у Лермонтова – почти летописное: «оскверненные церковные утвари», у Тургенева – бесцветный буквализм: «святые вещи для богослужения». А характернее всего концовка. Лермонтов дает мощную картину умирающего моря, его не смущает то, что при реализации тропа – развертывании метафоры образуются, как бы самообразуются, фигуральности, не привычные для русского слуха. Выразительность он явно предпочитает общепринятым приличиям и стилистической умеренности. Сравните.

Тургенев:

Моря давно не ведали приливов...
Погибла их владычица-луна...
Завяли ветры в воздухе немом...
Исчезли тучи... Тьме не нужно было
Их помощи... она была повсюду...

Лермонтов: «Скончались волны; легли в гроб приливы, луна, царица их, умерла прежде; истлели ветры в стоячем воздухе, и облака погибли. Мрак больше не имел нужды в их помощи – он был повсеместен».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.